

## Аркадий и Борис Стругацкие

### ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ

#### 1

Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, длинноногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарету. Это не ребенок, думал он ошеломленно. Дети так не говорят. Это даже не грубость, — это жестокость, и даже не жестокость, а просто ей все равно. Как будто она нам тут теорему доказала, просчитала все, проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками, совершенно спокойная. Превозмогая неловкость, Виктор посмотрел на Лолу. Лицо ее шло красными пятнами, яркие губы дрожали, словно она собиралась заплакать, но она, конечно, не думала плакать, она была в бешенстве.

— Ты видишь? — сказала она высоким голосом. — Девчонка, соплячка... Дрянь! Ничего святого, что ни слово-то оскорбление, словно я не мать, а половая тряпка, о которую можно вытирать ноги. Перед соседкой стыдно! Мерзавка, хамка...

Да, подумал Виктор, и с этой женщиной я жил. Я гулял с нею в горах, я читал ей Бодлера, и трепетал, когда прикасался к ней, и помнил ее запах... Кажется даже дрался из-за нее. До сих пор не понимаю, что она думала, когда я читал ей Бодлера? Нет, это просто удивительно, что мне удалось от нее удрать. Уму непостижимо, и как она меня выпустила? Наверно, я тоже был не сахар. Наверное, я и сейчас не сахар, но тогда я пил еще больше чем сейчас, и к тому же полагал себя большим поэтом.

— Тебе, конечно, не до того, куда там, — говорила Лола. — Столичная

жизнь, всякие балерины, артистки... Я все знаю. Не воображай, что мы здесь ничего не знаем. И деньги конечно, бешеные, и любовницы, и бесконечные скандалы... Мне это, если хочешь ты знать, безразлично, я тебе не мешала, ты жил как хотел...

Вообще ее губит то, что она очень много говорит, в девицах она была тихая, молчаливая, таинственная. Есть такие девицы, которые от рождения знают, как себя надо вести. Она знала. Вообще-то она и сейчас ничего, когда сидит, например, молча, на диване с сигаретой, выставив колени... Или заломит вдруг руку за голову и потянется. На провинциального адвоката это должно действовать чрезвычайно... Виктор представил себе уютный вечерок, этот столик придвинут к тому вон дивану, бутылка, шампанское шипит в фужерах, перевязанная ленточкой коробка шоколаду и сам адвокат, закованный в крахмал, галстук бабочкой. Все как у людей, и вдруг входит Ирма... Кошмар, подумал Виктор. Да она же несчастная женщина...

— Ты сам должен понимать, — говорила Лола, — что дело не в деньгах, что не деньги сейчас все решают. — Она уже успокоилась, красные пятна пропали. — Я знаю, ты по своему честный человек не взбалмошный, разболтанный но не злой. Ты всегда помогал нам, и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею. Но теперь мне нужна не такая помощь... Счастливой я себя назвать не могу, но и несчастной тебе не удалось меня сделать. У тебя своя жизнь у меня своя. Я, между, прочим, еще не старуха, у меня еще многое впереди...

Девочку придется забрать, подумал Виктор, она уже все, как будто, решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад кромешный... Хорошо, а куда я ее дену? Давай-ка честно, предложил он себе. Только честно. Здесь надо честно, это не игрушки... Он очень честно вспомнил свою жизнь в столице. Плохо, подумал он. Можно конечно взять экономку. Значит, снять постоянную квартиру... Да не в этом же дело: девочка должна быть со мной, а не с экономкой... Говорят, дети, которых воспитали отцы, —

самые лучшие дети. И потом она мне нравится, хотя она очень странная девочка. И вообще, я должен. Как честный человек, как отец. И я виноват перед нею. Но то все литература. А если честно? Если честно - боюсь. Потом она будет стоять передо мной, по-взрослому улыбаться большим ртом, и что я сумею ей сказать? Читай больше, читай, каждый день читай, ничем тебе больше не нужно заниматься, только читай. Она это и без меня знает, а больше мне сказать ей нечего. Потому и боюсь... Но и это еще не совсем честно. Не хочется мне, вот в чем дело. Я привык один. Я люблю один. Я не хочу по-другому... Вот как это выглядит, если честно. Отвратительно выглядит, как и всякая правда цинично выглядит, себялюбиво, гнусненько. Честно.

— Что же ты молчишь? — спросила Лола. — Ты так и собираешься молчать?

— Нет-нет, я слушаю тебя, — поспешно сказал Виктор.

— Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты изволишьотреагировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов...

А с ней тоже надо честно? — подумал Виктор. Вот уже с ней мне совсем не хочется честно. Она, кажется, вообразила себе, что такой вопрос я могу решить тут же, за двумя сигаретами.

— Пойми, — сказала Лола, — я ведь не говорю, чтобы ты взял ее на себя. Я же знаю, что ты не можешь, и слава богу, что ты не возьмешь. Ты ни на что такое не годен. Но у тебя же связи есть, знакомства, ты все-таки известный человек, ты помоги ее устроить! Есть же у нас какие-то привилегированные заведения, пансионаты, специальные школы. Она ведь способная девочка, у нее к языкам способности, и к математике, и к музыке...

— Пансион, — сказал Виктор. — Да конечно. Пансион. Сиротский приют... Нет-нет, я шучу. Об этом стоит подумать.

— А что тут думать? Любой был бы рад устроить своего ребенка в

хороший пансионат или в специальную школу. Жена нашего директора...

— Слушай, Лола, — сказал Виктор. — Это хорошая мысль, я попробую что-нибудь сделать. Но это не так просто, на это нужно время. Я, конечно, напишу...

— Напишу! Ты весь в этом. Не писать надо, а ехать лично, пороги обивать! Ты же все равно здесь бездомник! Все равно только пьянствуешь и с девками путаешься. Неужели так трудно для родной дочери...

О, черт, подумал Виктор, так ей все и объясни. Он снова закурил, поднялся и прошел по комнате. За окном темнело, и по-прежнему лил дождь, крупный, тяжелый, неторопливый дождь, которого было очень много и который явно никуда не торопился.

— Ах, как ты мне надоел! — сказала Лола с неожиданной злостью. — Если бы ты только знал, как ты мне надоел...

Пора идти, подумал Виктор. Начинается священный материнский гнев, ярость покинутой и все такое прочее, все равно сегодня я ничего ей не отвечу. И ничего не стану ей обещать.

— Ни в чем на тебя нельзя положиться, — продолжала она, — негодный муж, бездарный отец... Модный писатель, видите ли! Дочь родную воспитать не сумел... Да любой мужик понимает в людях больше, чем ты! Ну что ты делаешь? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль, для нее любой мокрец в сто раз важнее чем я. Ну ничего, ты еще спохватишься! Ты ее не учишь, так они ее научат! Дождешься еще, что она тебе будет в рожу плевать, как мне...

— Брось, Лола, — сказал Виктор, морщась. — Ты все-таки, знаешь, как-то... Я отец, то верно, но ты же мать... Все у тебя кругом виноваты...

— Убирайся! — сказала она.

— Ну вот что, — сказал Виктор. — Ссориться я с тобой не намерен. Решать с бухты-барахты я тоже ничего не намерен. Буду думать. А ты... — Она теперь стояла, выпрямившись, и прямо-таки дрожала, предвкушая упрек,

готовая с наслаждением ринуться в свару.

— А ты, — спокойно сказал он, — постарайся не нервничать. Что-нибудь придумаем. Я тебе позвоню.

Он вышел в прихожую и натянул плащ. Плащ был еще мокрый. Виктор заглянул в комнату Ирмы, чтобы попрощаться, но Ирмы не было. Окно было раскрыто настежь, в подоконник хлестал дождь. На стене красовался транспарант с надписью большими красивыми буквами: «Прошу никогда не закрывать окно». Транспарант был мятый, с надрывами и темными пятнами, словно его неоднократно срывали и топтали ногами. Виктор прикрыл дверь.

— До свидания, Лола, — сказал он. Лола не ответила.

На улице было уже темно. Дождь застучал по плечам, по капюшону. Виктор ссутулился и сунул руки в карманы. Вот в этом скверике мы в первый раз поцеловались, думал он. А вот этого дома тогда не было, а был пустырь, а за пустырем свалка, там мы охотились с рогатками на кошек, а сейчас я что-то ни одной не вижу... И ни черта мы тогда не читали, а у Ирмы полна комната книг. Что такое была в мое время двенадцатилетняя девчонка? Конопатое хихикающее существо, бантики, чулки, картинки с зайчиками и Белоснежками, всегда парочками — троечками, шу-шу-шу, кульки с ирисками, испорченные зубы. Чистюли, ябеды, а самые лучшие из них - точно такие же, как мы: коленки в ссадинах, дикие рысьи глаза и пристрастие к подножкам. Времена новые, наконец, что-ли наступили? Нет, подумал он. Это не времена. То есть и времена, конечно, тоже... А может быть она у меня вундеркинд? Случаются же вундеркинды. Я — отец вундеркинда. Почетно, но хлопотно, и не столько почетно, сколько хлопотно, да в конце концов и не почетно вовсе, а так... А вот эту улочку я всегда любил, потому что она самая узкая. Так, а вот и драка. Правильно, у нас без этого нельзя, мы без этого никак не можем. Это у нас здесь испокон веков. И двое на одного...

На углу стоял фонарь. У границы освещенного пространства мокнул автомобиль с брезентовым верхом, а рядом с автомобилем двое в блестящих

плащах пригибали к мостовой третьего — в черном и мокром. Все трое с натугой и неуклюже топтались по булыжнику. Виктор остановился, потом подошел поближе. Непонятно было, что тут, собственно, происходит. На драку не похоже: никто никого не бьет. На возню от избытка молодых сил не похоже тем более — не слышно азартного гиканья и жеребьячьего ржания... Третий в черном вдруг вырвался, упал на спину, и двое в плащах сейчас же повалились на него. Тут Виктор заметил, что дверцы машины распахнуты, и подумал, что этого черного либо недавно вытащили, либо пытаются туда запихнуть. Он подошел вплотную и рявкнул: «Отставить!»

Двое в плащах разом обернулись и несколько мгновений смотрели на Виктора из под надвинутых капюшонов. Виктор заметил только, что они молодые и что рты у них разинуты от напряжения, а затем они с невероятной быстротой нырнули в автомобиль, стукнули дверцы, машина взревела и умчалась в темноту. Человек в черном медленно поднялся, и, разглядев его, Виктор отступил на шаг. Это был больной из лепрозория — «мокрец», или «очкарик», как их здесь называли за желтые круги вокруг глаз, — в плотной черной повязке, скрывающей нижнюю половину лица. Он мучительно тяжело дышал, страдальчески задрал остатки бровей. По лысой голове стекала вода.

— Что случилось? — спросил Виктор.

Очкарик смотрел не на него, а мимо, глаза его выкатились. Виктор хотел обернуться, но тут его с хрустом ударило в затылок, и когда он очнулся, то обнаружил, что лежит лицом вверх под водосточной трубой. Вода хлестала ему в рот, она была желтоватая и ржавая на вкус. Отплеываясь и кашляя, он отодвинулся и сел, прислонившись спиной к кирпичной стене. Вода, набравшаяся в воротник, поползла по телу. В голове гудели и звенели колокола, трубили трубы и били барабаны. Сквозь этот шум Виктор разглядел перед собой худое темное лицо. Мальчишечье лицо. Знакомое. Где-то я его видел. Еще до того, как у меня лязгнули челюсти... Он подвигал

языком, пошевелил челюстью. Зубы были в порядке. Мальчик набрал под трубой пригоршню воды и плеснул ему в глаза.

— Милый, — сказал Виктор. — Хватит.

— Мне показалось, — сказал мальчик серьезно, — что вы еще не очнулись.

Виктор осторожно засунул руку под капюшон и ощупал затылок. Там была шишка — никаких раздробленных костей, даже крови не было.

— Кто же это меня? — задумчиво спросил он. — Надеюсь, не ты?

— Вы сможете идти, господин Банев? — сказал мальчик. — Или позвать кого-нибудь? Видите ли, для меня вы слишком тяжелый.

Виктор вспомнил, кто это.

— Я тебя знаю, — сказал он. — Ты — Бол-Кунац, приятель моей дочери.

— Да, — сказал мальчик.

— Вот и хорошо. Не надо никого звать и не надо никому говорить а давай-ка немножко посидим и опомнимся.

Теперь он разглядел, что с Бол-Кунацем тоже не все в порядке, на щеке у него темнела свежая царапина, а верхняя губа припухла и кровоточила

— Я все-таки позову кого-нибудь, — сказал Бол-Кунац.

— Стоит ли?

— Видите ли, господин Банев, мне не нравится, как у вас дергается лицо.

— В самом деле? — Виктор ощупал лицо. Лицо не дергалось... — Это тебе только кажется... А теперь мы встанем. Что для этого необходимо? Для этого необходимо подтянуть под себя ноги... — Он подтянул под себя ноги, а ноги показались ему не своими. — Затем, слегка оттолкнувшись от стены, перенести центр тяжести таким образом... — Ему никак не удавалось перенести центр тяжести, что-то мешало. «Чем же это меня? — подумал он. — Да ведь как ловко...»

— Вы наступили себе на плащ, — сообщил мальчик, но Виктор уже сам разобрался со своими руками и ногами, со своим плащом и оркестром под

черепом. Он встал. Сначала пришлось придерживаться за стенку, но потом дело пошло лучше.

— Ага, — сказал он. — Значит, ты меня оттащил до этой трубы. Спасибо.

Фонарь стоял на месте, но не было ни машины, ни очкарика. Ничего не было. Только Бол-Кунац осторожно гладил свою ссадину мокрой ладонью.

— Куда же они все делись? — спросил Виктор.

Мальчик не ответил.

— Я тут один лежал? — спросил Виктор. — Вокруг никого больше не было?

— Давайте я вас провожу, — сказал Бол-Кунац. — Куда вам лучше идти? Домой?

— погоди, — сказал Виктор. — Ты видел, как они хотели схватить очкарика?

— Я видел, как вас ударили, — сказал Бол-Кунац.

— Кто?

— Я не разглядел. Он стоял спиной.

— А ты где был?

— Видите ли, я лежал здесь за углом...

— Ничего не понимаю, — сказал Виктор. — Или у меня с головой что-то... Почему, собственно, ты лежал за углом? Ты там живешь?

— Видите ли, я лежал, потому что меня ударили еще раньше. Не тот, который вас ударил, а другой.

— Очкарик?

Они медленно шли, стараясь держаться мостовой, чтобы на них не лило с крыш.

— Н-нет, — ответил Бол-Кунац, подумав. — По-моему, они все были без очков.

— О, господи, — сказал Виктор. Он полез рукой под капюшон и



потрогал шишку. — Я говорю о прокаженном, их называют очкариками. Ну, знаешь, из лепрозория? Мокрецы...

— Не знаю, по-моему они все были вполне здоровы, — сдержанно произнес Бол-Кунац.

— Ну-ну! — сказал Виктор. Он ощутил некоторое беспокойство и даже остановился. — Ты что же, хочешь меня уверить, что там не было прокаженного? С черной повязкой, весь в черном...

— Это никакой не прокаженный! — с неожиданной запальчивостью сказал Бол-Кунац. — Он поздоровее вас...

Впервые в этом мальчике обнаружилось что-то мальчишечье и сразу исчезло.

— Я не совсем понимаю, куда мы идем, — помолчав, сказал он прежним серьезным до бесстрастия тоном. — Сначала мне показалось, что вы направляетесь домой, но теперь я вижу, что мы идем в противоположную сторону.

Виктор все еще стоял, глядя на него сверху вниз. Два сапога — пара, подумал он. Все просчитал, проанализировал и деловито решил не сообщать результата. Так он мне и не расскажет, что здесь было. А может быть уголовники? Новые знаете ли, времена... Чепуха, знаю я нынешних уголовников...

— Все правильно, — сказал он и двинулся дальше. — Мы идем в гостиницу, я там живу.

Мальчик, прямой, строгий и мокрый шагал рядом. Преодолев некоторую нерешительность, Виктор положил руку ему на плечо. Ничего особенного не произошло — мальчик стерпел. Впрочем, он, вероятно, решил, что его плечо понадобилось в утилитарных целях, как подпорка для травмированного.

— Должен тебе сказать, — самым доверительным тоном сообщил Виктор, — что у вас с Ирмой очень странная манера разговаривать. Мы в детстве говорили не так.

— Правда? — вежливо сказал Бол-Кунац. — И как же вы говорили?

— Ну, например, этот твой вопрос у нас бы звучал так: Чиво?

Бол-Кунац пожал плечами.

— Вы хотите сказать, что это было лучше?

— Упаси бог. Я хочу только сказать, что это было бы естественнее.

— Именно то, что наиболее естественно, — заметил Бол-Кунац, — менее всего подобает человеку.

Виктор ощутил какой-то холод внутри. Какое-то беспокойство. Или даже страх. Словно в лицо ему расхохоталась кошка.

— Естественное всегда примитивно, — продолжал между прочим Бол-Кунац.

— А человек — существо сложное, естественность ему не идет. Вы понимаете меня, господин Банев?

— Да, — сказал Виктор, — конечно...

Было нечто удивительно фальшивое в том, что он отечески держал руку на плече этого мальчишки, который не мальчишка. У него даже заныло в локте. Он осторожно убрал руку и сунул ее в карман.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Четырнадцать, — рассеяно ответил Бол-Кунац.

— А-а...

Любой другой мальчик на месте Бол-Кунаца непременно заинтересовался бы этим раздражающе — неопределенным «а-а», но Бол-Кунац был не из любых мальчиков. Он ничего не сказал. Его не занимали интригующие междометия. Он размышлял над соотношением естественного и примитивного. Он сожалел, что ему попался такой неинтеллигентный собеседник, да еще ударенный по голове...

Они вышли на проспект Президента. Здесь было много фонарей, и попадались прохожие, торопливые, согнутые многодневным дождем мужчины и женщины. Здесь были освещенные витрины, и озаренный

неоновым светом вход в кинотеатр, где под навесом толпились очень одинаковые молодые люди неопределенного пола, в блестящих плащах до пят. И над всем этим сквозь дождь сияли золотые и синие заклинания: «Президент — отец народа», «Легионер Свободы — верный сын Президента», «Армия — наша грозная сила»...

Они по инерции шли по мостовой, и проехавший автомобиль, рывкнув сигналом, загнал их на тротуар и окатил грязной водой...

— А я думал, тебе лет восемьдесят, — сказал Виктор.

— Чиво-чиво? — противным голосом спросил Бол-Кунац, и Виктор с облегчением засмеялся. Все-таки это был мальчик, обыкновенный нормальный вундеркинд, начитавшийся Гейбора, Зурзмансора, Фромма и, может быть, даже осиливший Шпенглера.

— У меня в детстве был приятель, — сказал Виктор, — который затеял прочитать Гегеля в подлиннике и прочитал-таки, но сделался шизофреником. Ты в свои годы, безусловно, знаешь, что такое шизофрения?

— Да, знаю, — сказал Бол-Кунац.

— И ты не боишься?

— Нет.

Они подошли к отелю, и Виктор предложил:

— Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь?

— Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти, во-первых, я должен вам кое-что сказать, а, во-вторых, мне надо поговорить по телефону. Вы разрешите?

Виктор разрешил. Они прошли сквозь вращающуюся дверь мимо швейцара, снявшего перед Виктором фуражку, мимо богатых статуй с электрическим свечами, в совершенно пустой вестибюль, пропитанный ресторанным запахом, и Виктор ощутил привычный подъем в предвкушении наступающего вечера, когда можно будет пить и безответственно болтать и отодвинуть локтем на завтра то, что раздражающе наседало сегодня; в

предвкушении Юла Голема и доктора Квадриги, и, может быть, еще с кем-нибудь познакомлюсь, и, может быть, что-нибудь случится — драка или сюжет. Вдруг заиграет — и закажу-ка я сегодня миноги и пусть все будет хорошо, а последним автобусом поеду к Диане.

Пока Виктор брал ключи у портье, за его спиной проходил разговор. Бол-Кунац разговаривал со швейцаром. «Ты зачем сюда вперся?» — шипел швейцар. «У меня разговор с господином Баневым». «Я тебе покажу разговор с господином Баневым, — шипел швейцар, — шляешься по ресторанам...» «У меня разговор с господином Баневым, — повторил Бол-Кунац. — Ресторан меня не интересует». «Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал... Вот я тебя отсюда вышвырну...» Виктор взял ключ и обернулся.

— Э... — сказал он. Он опять забыл имя швейцара. — Парнишка со мной, все в порядке.

Швейцар ничего не ответил, лицо у него было недовольное.

Они поднялись в номер. Виктор с наслаждением сбросил плащ и наклонился, чтобы расшнуровать сырые ботинки. Кровь прилила к голове и он ощутил изнутри болезненные редкие толчки в то место, где был желвак, тяжелый и круглый, как свинцовая лепешка. Он сразу выпрямился и, придерживаясь за косяк, стал сдирать ботинок, упершись в задник носком другой ноги. Бол-Кунац стоял рядом, с него капало.

— Раздевайся, — сказал Виктор. — Повесь все на радиатор, сейчас я дам полотенце.

— Разрешите позвонить, — сказал Бол-Кунац, не двигаясь с места.

— Валяй, — Виктор содрал второй ботинок и в мокрых носках ушел в ванную. Раздеваясь, он слышал, как мальчик негромко разговаривает, спокойно и неразборчиво. Только однажды он отчетливо и громко произнес: «Не знаю». Виктор обтерся полотенцем, накинул халат и, достав чистую купальную простыню, вышел из ванной. «Вот тебе» — сказал он и тут же увидел, что это ни к чему. Бол-Кунац по-прежнему стоял у дверей, и с него

по-прежнему капало.

— Благодарю вас, — сказал он. — Видите ли, мне надо идти. Я хотел бы еще только...

— Простудишься, — сказал Виктор.

— Нет, не беспокойтесь, благодарю вас. Я не простужусь. Я хотел еще только выяснить с вами один вопрос. Ирма вам ничего не говорила?

Виктор бросил простыню на диван, присел на корточки перед баром и вытащил бутылку и стакан.

— Ирма мне много чего говорила, — ответил он довольно мрачно. Он налил в стакан на палец джину и долил немного воды.

— Она не передавала вам наше приглашение?

— Нет, приглашений она мне не передавала. На, выпей.

— Благодарю вас, не нужно. Раз она не передавала, передам я. Мы хотели бы встретиться с вами, господин Банев.

— Кто это-мы?

— Гимназисты. Видите ли, мы читали ваши книги и хотели бы задать вам несколько вопросов.

— Гм, — сказал Виктор с сомнением. — Ты уверен, что это будет интересно всем?

— Я думаю, да.

— Все-таки я пишу не для гимназистов, — напомнил Виктор.

— Это неважно, — сказал Бол-Кунац с мягкой настойчивостью. — Вы согласились бы?

Виктор задумчиво покрутил в стакане прозрачную смесь.

— Может быть, все-таки выпьешь? — спросил Виктор. — Лучшее средство от простуды. Нет? Ну, тогда я выпью. — Он осушил стакан. — Хорошо. Я согласен. Только никаких афиш, объявлений, и прочего. Узкий круг. Вы и я... Когда?...

— Когда вам будет угодно. Лучше бы на той неделе. Утром.

— Скажем, через два дня. Только не очень рано. Скажем, в пятницу в одиннадцать. Это подойдет?

— Да. В пятницу в одиннадцать. В гимназии. Вам напомнить?

— Обязательно, — сказал Виктор. — О раутах, суаре и банкетах, а также о митингах, встречах и совещаниях я всегда стараюсь забыть.

— Хорошо, я напомню, — сказал Виктор. — А теперь я, с вашего разрешения, пойду. До свидания, господин Банев.

— Постой, я тебя провожу, — сказал Виктор. — Как бы тебя этот... швейцар не обидел. Что-то он сегодня не в духе, а швейцары, знаешь, такой народ...

— Благодарю вас, не беспокойтесь, — возразил Бол-Кунац. — Это мой отец.

И он вышел. Виктор налил себе еще на палец джину и повалился в кресло. Так, подумал он. Бедный швейцар. Как же его зовут? Неудобно даже, все-таки мы с ним товарищи по несчастью, коллеги. Надо будет с ним поговорить, обменяться опытом. Он, наверное, опытнее... Какая однако концентрация вундеркиндов в моем родном промозглом городишке. Может быть, это от повышенной влажности?.. Он откинул голову и сморщился от боли. Вот гад, чем это он меня все-таки? Он ощупал желвак. Похоже на резиновую дубинку. Впрочем, откуда мне знать, как это бывает от резиновой дубинки? Как бывает от современного стула в «Жареном Пегасе» — это я знаю. Как бывает от автоматного приклада, или, например, от рукоятки пистолета, я тоже знаю, от бутылки из под шампанского и от бутылки с шампанским... Надо будет спросить Голема... Вообще странная какая-то история, хорошо бы в ней разобраться... И он стал разбираться в этой истории, чтобы отогнать всплывшую вторым планом мысль об Ирме, о необходимости от чего-то отказываться и как-то себя ограничивать, куда-то кому-то писать, кого-то просить... «Извини, что беспокою тебя, старина, но тут у меня объявилась дочка двенадцати с лишним лет, очень славная

девочка, но мать у нее дура и отец тоже дурак, так вот надобно пристроить ее куда-нибудь подальше от глупых людей...» Не хочу я сегодня об этом думать, завтра подумаю, — он посмотрел на часы. Хватит думать вообще. Хватит.

Он поднялся и стал одеваться перед зеркалом. Брюхо растет, вот дьявол, и откуда бы у меня быть брюху? Такой всегда был сухощавый жилистый человек... Даже и не брюхо, собственно, — благородное трудовое чрево от размеренной жизни и от хорошей пищи. Так, брюшко какое-то паршивенькое, оппозиционерский животик. У господина Президента, небось не такой. У господина Президента небось благородный, обтянутый черным, лоснящийся дирижабль. Повязывая галстук, он придвинул лицо к зеркалу и вдруг подумал, как выглядело это уверенное крепкое лицо, столь обожаемое женщинами известного сорта, некрасивое, но мужественное лицо бойца с квадратным подбородком, как оно выглядело к концу исторической встречи. Лицо господина Президента, тоже не лишнее мужественности и элементов квадратности, к концу исторической встречи напоминало, прямо скажем, между нами, кабанье рыло. Господин Президент изволил взвинтить себя до последней степени, из клыкастой пасти летели брызги, а я достал платок и демонстративно вытер себе щеку, и это был, наверное, самый смелый поступок в моей жизни, если не считать того случая, когда я дрался с тремя танками сразу. Но как я дрался с танками, я не помню, знаю только по рассказам очевидцев, а вот платочек я вынул сознательно и соображал, на что иду... В газетах об этом не писали. В газетах честно и мужественно, с суровой прямоотой сообщили, что «беллетрист Банев искренне поблагодарил господина Президента за все замечания и разъяснения, сделанные в ходе беседы».

Странно, как хорошо я все помню. — Он обнаружил, что у него побелели щеки и кончик носа. — Вот таким я тогда был, на такого орать сам бог велел. Он ведь не знал бедняга, что это я не от страха бледнею, а от

злости, как Людовик Четырнадцатый... Только не будем махать кулаками после драки. Какая разница, от чего я там у него бледнел... Ладно, не будем. Но для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы привести себя в порядок перед появлением на люди, чтобы вернуть нормальный цвет некрасивому, но мужественному лицу, я должен отметить, я должен напомнить вам, господин Банев, что если бы вы не продемонстрировали господину Президенту свой платочек, вы бы благополучнейшим образом обретались сейчас в нашей славной столице, а не в этой мокрой дыре...

Виктор залпом выпил джин и спустился в ресторан...

## 2

— Может быть, конечно, и хулиганы, — сказал Виктор, — только в мое время никакой хулиган не стал бы связываться с очкариком. Запустить в него камнем — это еще куда ни шло, но хватать, тащить и вообще прикасаться... Мы их все боялись, как заразы.

— Я же говорю вам: это генетическая болезнь, — сказал Голем. — Она абсолютно не заразная.

— Как же не заразная, — возразил Виктор, — когда от нее бородавки, как от жабы! Это все знают.

— От жаб не бывает бородавок, — благодушно сказал Голем. — От мокрецов тоже. Стыдно, господин писатель. Впрочем, писатели — народ серый как всякий народ. Народ сер, но мудр. И если народ утверждает, что от жаб и от очкариков бывают бородавки...

— Как и всякий народ. Народ сер, но мудр. И если народ утверждает, что от жаб и очкариков бывают бородавки...

— А вот приближается мой инспектор, — сказал Голем.

Подошел Павор в мокром плаще, прямо с улицы.

— Добрый вечер, — сказал он. — Весь промок, хочу выпить.

— Опять от него тинной воняет, — с негодованием произнес доктор



Р.Квадрига, пробудившись от алкогольного транса. — Вечно от него воняет тиной. Как в пруду. Ряска.

— Что вы пьете? — спросил Павор.

— Кто — мы? — осведомился Голем. — Я, например, как всегда, пью коньяк. Виктор пьет джин. А доктор — все поочередно.

— Срам! — сказал доктор Р.Квадрига с негодованием. — Чешуя! И ГОЛОВЫ.

— Двойной коньяк! — крикнул Павор официанту.

Лицо у него было мокрое от дождя, густые волосы слиплись, и от висков по бритым щекам стекали блестящие струйки. Тоже твердое лицо, многие, наверное, завидуют. Откуда у санитарного инспектора такое лицо? Твердое лицо-это: сыплет дождь, прожектора, тени на мокрых вагонах мечутся, ломаются... Все черное и блестящее, и только черное и блестящее, и никаких разговоров, никакой болтовни только команды, и се повинуются... Не обязательно вагоны, может быть, самолеты, аэродром, и потом никто не знает, где он был и откуда взялся... девочки падает навзничь, а мужчинам хочется сделать что-нибудь мужественное, например, расправить плечи и втянуть брюхо. Вот Голему не мешало бы втянуть брюхо, только занято у него там все — куда его там втянешь. Доктор Р.Квадрига — да, но зато ему не расправить плечи, вот уже много дней и навсегда он согбен. Вечерами он согбен над столом, по утрам — над тазиком, а днем — от больной печени. И, значит, только я здесь способен расправить плечи и втянуть брюхо, но я лучше мужественно хлопну стаканчик джину.

— Нимфоман, — грустно сказал Павору доктор Р.Квадрига. — Русалкоман. И водоросли.

— Заткнитесь, доктор, — сказал Павор. Он вытирал лицо бумажными салфетками, комкая их и бросая на пол. Потом он стал вытирать руки.

— С кем это вы подрались? — спросил Виктор.

— Изнасилован мокрецом, — произнес доктор Р.Квадрига, мучительно

стараясь развести по местам глаза, которые съехались у него к переносице.

— Пока ни с кем, — ответил Павор и пристально посмотрел на доктора, но Р.Квадрига этого не заметил.

Официант принес рюмку. Павор медленно выцедил коньяк и поднялся.

— Пойду-ка я умоюсь, — сказал он ровным голосом, — за городом грязно, весь в дерьме. — И ушел, задевая по дороге стулья.

— Что-то происходит с моим инспектором, — произнес Голем. Он щелчком сбросил со стола мятую салфетку. — Что-то мировых масштабов. Вы, случайно, не знаете, что именно?

— Вам лучше знать, — сказал Виктор. — Он инспектирует вас, а не меня. И потом, вы же все знаете. Кстати, Голем, откуда вы все знаете?

— Никто ничего не знает, — возразил Голем. — Пока только догадываются. Очень многие — кому хочется. Но нельзя спросить, откуда они догадываются, — это насилие над языком. Куда идет дождь? Чем встает солнце? Вы бы простили Шекспиру, если бы он написал что-нибудь в это роде. Впрочем, Шекспиру вы бы простили. Шекспиру мы многое прощаем, не то что Баневу... Слушайте, господин беллетрист, у меня есть идея. Я выпью коньяк, а вы покончите с этим джином. Или вы уже готовы?

— Голем, — сказал Виктор, — вы знаете, что я — железный человек?

— Я догадываюсь.

— А что из этого следует?

— Что вы боитесь заржаветь.

— Предположим, — сказал Виктор. — Но я имею в виду не это. Я имею в виду, что могу пить много и долго, не теряя нравственного равновесия.

— Ах, вот в чем дело, — сказал Голем, наливая себе из графинчика. — Ну хорошо, мы еще вернемся к этой теме.

— Я не помню, — сказал вдруг ясным голосом доктор Р. Квадрига. — Я вам представлялся, господа, или нет? Рем Квадрига, живописец, доктор гонорис кауза, почетный член... Тебя я помню, — сказал он Виктору. — Мы

с тобой учились и еще что-то... А вот вы, простите...

— Меня зовут Юл Голем, — небрежно сказал Голем.

— Очень рад. Скульптор?

— Нет, врач.

— Хирург?

— Я — главный врач лепрозория, — терпеливо объяснил Голем.

— Ах, да! — сказал доктор Р.Квадрига, по домашнему мотая головой. — Конечно. Простите меня, Юл... Только почему вы скрываете? Какой же вы там врач? Вы же разводите мокрецов... Я вас представляю. Такие люди нам нужны... Простите, — сказал он неожиданно. — Я сейчас. Он выбрался из кресла и устремился к выходу, блуждая между пустыми столиками. К нему подскочил официант, и доктор Р.Квадрига обнял его за шею.

— Это все дожди, — сказал Голем. — Мы дышим водой. Но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда. — Он серьезно и печально глядел на Виктора.

— А дождь будет падать на пустой город, размывая мостовые, сочиться сквозь гнилые крыши... Потом смоет все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать и падать.

— Апокалипсис, — проговорил Виктор, чтобы что-нибудь сказать.

— Да, Апокалипсис... Будет падать и падать, а потом земля напитается, и взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной.

Если бы не синие мешки под глазами, если бы не кислое студенистое брюхо, если бы этот семитский великолепный нос не был так похож на топографическую карту... Хотя, ежели подумать, все пророки были пьяницами, потому что уж очень тоскливо: ты все знаешь, а тебе никто не верит. Если бы в департаментах ввели штатную должность пророка, то им следовало присваивать не ниже тайного советника — для укрепления авторитета. И все равно, наверно, не помогло бы...

— За систематический пессимизм, — сказал Виктор вслух, — ведущий к подрыву служебной дисциплины и веры в разумное будущее, приказываю тайного советника Голема побить камнями в экзекуторской.

Голем хмыкнул.

— Я всего лишь коллежский советник, — сообщил он. — И потом, какие пророки в наше время? Я не знаю ни одного. Множество лжепророков и ни одного пророка. В наше время нельзя предвидеть будущее — это насилие над языком. Чтобы вы сказали, прочитав у Шекспира: предвидеть настоящее? Разве можно предвидеть шкаф в собственной комнате?.. А вот идет мой инспектор. Как вы себя чувствуете, инспектор?

— Прекрасно, — сказал Павор, усаживаясь. — Официант, двойной коньяк! Там, в вестибюле, нашего живописца держат четверо, — сообщил он. — Объясняют ему, где вход в ресторан. Я решил не вмешиваться, потому что он никому не верит и дерется... О каких шкафах идет речь?

Он был сух, элегантен, свеж, от него пахло одеколоном.

— Мы говорили о будущем, — сказал Голем.

— Какой смысл говорить о будущем? — возразил Павор. — О будущем не говорят, будущее делают. Вот рюмка коньяка. Она полная. Я сделаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести.

— Другой умный человек сказал, — заметил Виктор, — что будущего нет вообще, есть только настоящее.

— Я не люблю классической философии, — сказал Павор. — Эти люди ничего не умели и ничего не хотели. Им просто нравилось рассуждать, как Голему пить. Будущее — это тщательно обезвреженное настоящее.

— У меня всегда возникает странное ощущение, — сказал Голем, — когда при мне штатский человек рассуждает как военный.

— Военные вообще не рассуждают, — возразил Павор. — У военных только рефлексy и немного эмоций.

— У большинства штатских тоже, — сказал Виктор, ощупывая свой затылок.

— Сейчас ни у кого нет времени рассуждать, — сказал Павор, — ни у военных, ни у штатских. Сейчас надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии с рефлексами и эмоциями.

— К чертям изобретателей, — сказал Виктор. Он чувствовал себя пьяным и веселым. Все стояло на своих местах. Не хотелось никуда идти, хотелось оставаться здесь, в этом пустом полутемном зале, еще совсем не ветхом, но уже с потеками на стенах, с расхлябанными половицами, с запахом кухни, особенно если вспомнить, что снаружи во всем мире идет дождь, над островерхими крышами — дождь, и дождь заливает горы и равнину, и когда-нибудь он все это смоем, но это случится еще очень нескоро... хотя, если подумать, сейчас ни о чем нельзя говорить, что это случится не скоро. Да, милые мои, давно оно прошло, время, когда будущее было повторением настоящего, а все перемены маячили где-то за далеким горизонтом. Голем прав, нет на свете никакого будущего, оно слилось с настоящим, и теперь не разобрать, где что.

— Изнасилован мокрецом! — сказал Павор злорадно.

В дверях ресторана появился доктор Р. Квадрига. Несколько секунд он стоял, с тяжелым вниманием обозревая ряды пустых столиков, затем лицо его прояснилось, и он, резко качнувшись вперед, устремился к своему месту.

— Почему вы их называете мокрецами? — спросил Виктор. — Что они — мокрыми у вас стали от дождя?

— А почему нет? — сказал Павор. — Как их, по-вашему, называть?

— Очкариками, — сказал Виктор. — Доброе старое слово. Спокон веков называли их очкариками.

Доктор Р. Квадрига приближался. Спереди он был весь мокрый, вероятно, его отмывали над раковиной. Выглядел он утомленным и

разочарованным.

— Черт знает что, — брезгливо сказал он еще издали, — никогда со мной такого не бывало — нет входа! Куда ни ткнусь — везде сплошные окна... Кажется, я заставил вас ждать, господа. — Он упал в свое кресло и узрел Павора. — Опять он здесь, — сообщил он Голему доверительным шепотом. — Надеюсь, он вам не мешает... А со мной, знаете ли, произошла удивительная история. Всего облили...

Голем налил ему коньяку.

— Благодарю вас, — сказал доктор Р. Квадрига, — но я, пожалуй, пропущу пару кругов. Надо обсохнуть.

— Я вообще за все старое доброе, — объявил Виктор. — Пусть очкарики остаются очкариками. И вообще пусть все остается без изменений. Я — консерватор... Внимание! — сказал он громко. — Предлагаю тост за консерватизм. Минуточку...

Он налил себе джину, встал и оперся рукой на спинку кресла.

— Я — консерватор, — сказал он. — И с каждым годом становлюсь все консервативнее, но не потому что ощущаю в этом потребность...

Трезвый Павор с рюмкой наготове глядел на него снизу вверх с подчеркнутым вниманием. Голем медленно ел миногу, а доктор Р.Квадрига, казалось, тщился понять, откуда до него доносится голос и чей. Все было очень хорошо.

— Люди обожают критиковать правительства за консерватизм, — продолжал Виктор. — Люди обожают превозносить прогресс. Это новое веяние и оно глупо, как все новое. Людям надлежало бы молить бога, чтобы он давал им самое косное, самое заскорузлое и конформистское правительство...

Теперь и Голем поднял глаза и смотрел на него, и Тэдди за своей стойкой тоже перестал перетирать бутылки и прислушался, только вот затылок вдруг заломило, и пришлось поставить рюмку и погладить желвак.

— Государственный аппарат, господа, во все времена почитал своей главной задачей сохранение статус-кво. Не знаю, насколько это было оправдано раньше, но сейчас такая функция государства просто необходима. Я бы определил ее так: всячески препятствовать будущему, запускать свои щупальца в наше время, обрубать эти щупальца, прижигая их каленым железом... Мешать изобретателям, поощрять схоластиков и болтунов... В гимназиях повсеместно ввести исключительно классическое образование. На высшие государственные посты — старцев, обремененных семьями и долгами, не меньше пятидесяти лет, чтобы брали взятки и спали на заседаниях...

— Что вы такое несете, Виктор? — сказал Павор укоризненно.

— Нет отчего же, — сказал Голем, — необычайно приятно слышать такие умеренные, лояльные речи.

— Я еще не кончил, господа!... Талантливых ученых назначать администраторами с большими окладами. Все без исключения изобретения принимать, плохо оплачивать и класть под сукно. Ввести драконовские налоги на каждую товарную и производственную новинку. «А чего я, собственно стою?» — подумал Виктор и сел. — Ну как вам это понравилось? — спросил он Голема.

— Вы совершенно правы, — сказал Голем. — А то у нас нынче все радикалы. Даже директор гимназии. Консерватизм — это наше спасение.

Виктор хлебнул джину и сказал горестно:

— Не будет никакого спасения. Потому что все дураки-радикалы не только верят в прогресс, они еще и любят прогресс, они воображают, что не могут без прогресса. Потому что прогресс — это, кроме всего прочего, дешевые автомобили, бытовая электроника и вообще возможность делать поменьше а получать побольше. И потому каждое правительство вынуждено одной рукой... то есть, не рукой, конечно... одной ногой нажимать на тормоза, а другой на акселератор. Как гонщик на повороте. На тормоза —

чтобы не потерять управление. А на акселератор — чтобы не потерять скорости, а то ведь какой-нибудь демагог, поборник прогресса, обязательно скинет с водительского места.

— С вами трудно спорить, — вежливо сказал Павор.

— А вы не спорьте, — сказал Виктор. — Не надо спорить: в спорах рождается истина, пропади она пропадом. — Он нежно погладил желвак и добавил: — Впрочем, у меня это, наверное от невежества. Все ученые — поборники прогресса, а я не ученый. Я просто небезызвестный куплетист.

— Что это вы все время хватаетесь за затылок? — спросил Павор.

— Какая-то сволочь долбанула, — сказал Виктор. — Кастетом... Правильно я говорю, Голем? Кастетом?

— По-моему, кастетом, — сказал Голем. — А может быть и кирпичом.

— Что вы такое говорите? — удивился Павор. — Каким кастетом? В этом захолустье?

— Вот видите, — наставительно сказал Виктор. — Прогресс! Давайте выпьем за консерватизм.

Позвали официанта, выпили еще раз за консерватизм. Пробило девять и в зале появилась известная пара — молодой человек в мощных очках и его долговязый спутник. Усевшись за свой столик, они включили торшер, смиренно огляделись и принялись изучать меню. Молодой человек опять пришел с портфелем, портфель поставил на свободное место, рядом с собой. Он всегда был очень добр к своему портфелю. Продиктовав заказ официанту, они стали молча глядеть в пространство. Странная пара, думал Виктор, удивительное несоответствие. Они выглядят, как в испорченном бинокле: один в фокусе, другой расплывается, и наоборот. Полнейшая несовместимость. С молодым человеком в очках можно было бы поговорить о прогрессе, а с долговязым — нет. Долговязый мог бы меня двинуть кастетом, а молодой в очках — нет... Но я вас сейчас совмещу. Как бы мне это вас совместить? Ну, например, вот... Какой-нибудь государственный



банк, подвалы... цемент, бетон, сигнализация, долговязый набирает номер на диске, стальная балка поворачивается, открывается вход в сокровищницу, оба входят, долговязый набирает другой номер, на другом диске дверца сейфа открывается, и молодой по локоть погружается в бриллианты.

Доктор Р. Квадрига вдруг расплакался и схватил Виктора за руку.

— Ночевать, — сказал он. — Ко мне. А?

Виктор немедленно налил ему джину. Р.Квадрига выпил, вытер под носом и продолжал:

— Ко мне. Вилла. Фонтан есть. А?

— Фонтан — это у тебя хорошо придумано, — заметил Виктор уклончиво.

— А что еще есть?

— Подвал, — печально сказал Квадрига. — Следы. Боюсь. Страшно. Хочешь

— продам?

— Лучше подари, — предложил Виктор.

Р. Квадрига заморгал.

— Жалко, — сказал он.

— Скупердй, — сказал Виктор с упреком. — Это у тебя с детства. Ну и подавись своей виллой. Виллы ему жалко!

— Ты меня не любишь, — горько констатировал доктор Р. Квадрига. — И никто.

— А господин Президент? — агрессивно спросил Виктор.

— «Президент — отец народа» — оживляясь, сказал Р. Квадрига. — Эскиз в золотых тонах... «Президент на позициях». Фрагмент картины: «Президент на обстреливаемых позициях».

— А еще? — поинтересовался Виктор.

— «Президент с плащом» — сказал Р. Квадрига с готовностью. — Панно. Панорама.

Виктор, соскучившись, отрезал кусочек миноги и стал слушать Голема.

— Вот что, Павор, — говорил тот. — Отстаньте вы от меня. Что я еще могу. Отчетность я вам представил. Рапорт вам готов подписать. Хотите жаловаться на военных — жалуйтесь. Хотите жаловаться на меня...

— Не хочу я на вас жаловаться, — отвечал Павор, прижимая руки к груди.

— Тогда не жалуйтесь..

— Ну посоветуйте мне что-нибудь! Неужели вы ничего мне не можете мне посоветовать?

— Господа, — сказал Виктор. — Скучища. Я пойду.

На него не обратили внимания. Он отодвинул стул, поднялся и, чувствуя себя очень пьяным, направился к стойке. Лысый Тэдди перетирал бутылки и смотрел на него без любопытства.

— Как всегда? — Спросил он.

— Подожди, — сказал Виктор. — Что это я у тебя хотел спросить... Да! Как дела, Тэдди?

— Дождь, — коротко сказал Тэдди и налил ему очищенной.

— Проклятая погода стала у нас в городе, — сказал Виктор и оперся на стойку. — Что там на твоём барометре?

Тэдди сунул руку под стойку и достал «погодник». Все три шипа плотно прилегли к блестящему, словно отполированному стволику.

— Без просвета, — сказал Тэдди, внимательно разглядывая «погодник». — Дьявольская выдумка. — Подумав, добавил: — А вообще-то бог его знает, может быть, он давно уже сломался — который год уже дождь, как проверить?

— Можно съездить в Сахару, — сказал Виктор.

Тэдди усмехнулся.

— Смешно, — сказал он. — Господин этот ваш, Павор, смешное дело, двести крон предлагает за эту штуку.

— Спьяну, наверное, — сказал Виктор. — Зачем она ему...

— Я ему так и сказал, — Тэдди повернул «погодник», поднес его к правому глазу. — Не дам, — заявил он решительно. — Пусть сам поищет. — Он сунул «погодник» под стойку, посмотрел, как Виктор крутит в пальцах рюмку и сообщил:

— Диана твоя приезжала.

— Давно? — небрежно спросил Виктор.

— Да часов в пять, примерно. Выдал ей ящик коньяку. Росшепер все гоняет, никак не остановится. Гоняет персонал за коньяком, жирная морда. Тоже мне — член парламента... Ты за нее не опасешься?

Виктор пожал плечами. Он вдруг увидел Диану рядом с собой. Она возникла возле стойки в мокром дождевике с откинутым капюшоном. Она не смотрела в его сторону, он видел только ее профиль и думал, что из всех женщин, которых он раньше знал, она — самая красивая и что такой у него больше, наверное, никогда не будет. Она стояла, опершись на стойку, и лицо ее было очень бледным и очень равнодушным, и она была самой красивой — у нее все было красиво. всегда. И когда она плакала и когда она смеялась, и когда злилась, и когда ей было наплевать, и даже когда мерзла, а, особенно, когда на нее находило... Ох и пьян же я, подумал Виктор, и разит, наверное, как от Р. Квадриги.

Он вытянул нижнюю губу и подышал себе в нос. Ничего не разобрать.

— Дороги мокрые, скользкие, — говорил Тэдди. — Туман... А потом, я тебе скажу, что Росшепер — это наверняка бабник, старый козел.

— Росшепер — импотент, — возразил Виктор, машинально проглотив очищенную.

— Это она тебе рассказала?

— Брось, Тэдди, — сказал Виктор. — Перестань.

Тэдди пристально на него посмотрел, потом вздохнул, крикнул, присел на корточки, покопался под стойкой и выставил перед Виктором пузырек с

нашатырным спиртом и начатую пачку чая. Виктор глянул на часы и стал смотреть, как Тэдди неторопливо достает чистый бокал, наливает в него содовую, капают из пузырька и все так же неторопливо мешают стеклянной палочкой. Потом он придвинул бокал Виктору. Виктор выпил и зажмурился, задерживая дыхание. Свежая отвратительная, отвратительно-свежая струя нашатырного спирта ударила в мозг и разлилась где-то за глазами. Виктор потянул носом воздух, сделавшийся нестерпимо холодным, запустил пальцы в пачку с чаем.

— Ладно, Тэдди, — сказал он. — Спасибо. Запиши на меня, что полагается. Они тебе скажут, что полагается. Пойду.

Старательно жуя чай, он вернулся к своему столику. Очкастый молодой человек со своим долговязым спутником торопливо поглощали ужин. Перед ними стояла единственная бутылка — с местной минеральной водой. Павор и Голем, освободив место на скатерти, играли в кости, а доктор Р. Квадрига, схватив нечесанную голову, — монотонно бубнил: «Легион Свободы — опора Президента». Мозаика... В счастливый день имени Вашего Превосходительства... «Президент — отец детей». Аллегорическая картина...

— Я пошел, — сказал Виктор.

— Жаль, сказал Голем. — Впрочем, желаю удачи.

— Привет Росшеперу, — сказал Павор, подмигнув.

— «Член парламента Росшепер Нант», — оживился Р. Квадрига. — Портрет. Недорого. Поясной...

Виктор взял свою зажигалку и пачку сигарет и пошел к выходу. Позади доктор Р. Квадрига ясным голосом произнес: «Я полагаю, господа, что нам пора познакомиться. Я — Рем Квадрига, доктор гонорис кауза, а вот вас, сударь, я не припомню...» В дверях Виктор столкнулся с толстым тренером футбольной команды «Братья по разуму». Тренер был очень озабочен, очень мокр и уступил Виктору дорогу.

## 3

Автобус остановился, и шофер сказал:

— Приехали.

— Санаторий? — спросил Виктор.

Снаружи был туман, плотный, молочный. Свет фар рассеивался в нем и ничего не было видно.

— Санаторий, санаторий, — проворчал шофер, раскуривая сигарету.

Виктор подошел к двери и, спустившись с подножки, сказал:

— Ну и туманище. Ничего не вижу.

— Разберетесь, — равнодушно пообещал шофер. Он сплюнул в окошко.

— Нашли место, где санаторий устраивать. Днем туман, вечером туман...

— Счастливого пути, — сказал Виктор.

Шофер не ответил. Взвыл двигатель, захлопнулись двери, и огромный пустой автобус, весь стеклянный и освещенный изнутри, как закрытый на ночь универмаг, развернулся, сразу превратившись в мутное пятно света, и укатил обратно в город. Виктор с трудом, перебирая руками решетчатую изгородь, нашел ворота и ощупью двинулся по аллее. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, он смутно различал впереди освещенные окна правого крыла и какую-то особенно глубокую тьму на месте левого, где сейчас спали намотавшиеся за день «Братья по разуму». В тумане, словно сквозь вату, слышались обычные звуки — играла радиола, дребезжала посуда, кто-то хрипло орал. Виктор продвигался, стараясь держаться середины песчаной аллеи, чтобы не налететь ненароком на какую-нибудь гипсовую вазу. Бутылку с джином он бережно прижимал к груди и был очень осторожен, но тем не менее вскоре споткнулся о что-то мягкое и прошелся на четвереньках. Позади вяло и сонно выругались в том смысле, что надо, мол, зажигать свет. Виктор нашарил в сумраке упавшую бутылку, снова прижал ее к груди и пошел дальше, выставив свободную руку. Скоро он столкнулся с

автомобилем, ощупью обошел его и столкнулся с другим. Дьявол, здесь оказалась целая куча автомобилей. Виктор, ругаясь, блуждал среди них, как в лабиринте и долго не мог выбраться к смутному сиянию, означавшему вход в вестибюль. Гладкие бока автомобилей были влажными от осевшего тумана. Где-то рядом хихикали и отбивались.

В вестибюле на этот раз было пусто, никто не играл в жмурки и не бегал в пятнашки, тряся жирным задом, никто не спал в креслах. Повсюду валялись скомканные плащи, а некий остряк повесил шляпу на фикус. Виктор поднялся по ковровой лестнице на второй этаж. Музыка гремела. Справа в коридоре все двери в апартаменты члена парламента были распахнуты, оттуда несло жирными запахами пищи, курева и разгоряченных тел. Виктор повернул налево и постучал в комнату Дианы. Никто не отозвался. Дверь была заперта, ключ торчал в замочной скважине. Виктор вошел, зажег свет и поставил бутылку на телевизионный столик. Послышались шаги, и он выглянул наружу. Направо по коридору широкой и твердой походкой удалялся рослый человек в темном вечернем костюме. На лестничной площадке он остановился перед зеркалом, вскинув голову поправил галстук (Виктор успел разглядеть изжелта-смуглый орлиный профиль и острый подбородок), а затем в нем что-то изменилось: он ссутулился, слегка перекосился на бок и, гнусно виляя бедрами, скрылся в одной из распахнутых дверей. Пижон, неуверенно подумал Виктор. Блевать ходил... Он поглядел налево. Там было темно.

Виктор снял плащ, запер комнату и отправился искать Диану. Придется заглянуть к Росшеперу, подумал он. Где ей еще быть?

Росшепер занимал три палаты. В первой недавно жрали: на столах, покрытых замаранными скатертями громоздились грязные тарелки, пепельницы, бутылки, мятые салфетки, и никого не было, если не считать одинокой потной лысины, храпевшей в блюде с заливным.

В смежной палате дым стоял коромыслом. На гигантской росшеперовой

кровати брыкались полураздетые нездешние девчонки. Они играли в какую-то странную игру с апоплексически-багровым господином бургомистром, который зарывался в них, как свинья в желуди, и тоже брыкался и хрюкал от удовольствия. Тут же присутствовали: господин полицмейстер без кителя, господин городской судья с глазами, вылезавшими из орбит от нервной одышки, и какая-то незнакома юркая личность в сиреневом. Эти трое азартно сражались в детский бильярд, поставленный на туалетный столик, а в углу, прислоненный к стене, сидел, раскинув ноги, облаченный в перепачканный мундир, директор гимназии с идиотской улыбкой на устах. Виктор уже собрался уходить, когда кто-то поймал его за штанину. Он глянул вниз и отпрянул. Под ним стоял на четвереньках член парламента, кавалер орденов, автор нашумевшего проекта об обрыблении Китчиганских водоемов Росшепер Нант.

— В лошадки хочу, — просительно проблеял Росшепер. — Давай в лошадки! Иго-го! — Он был невменяем.

Виктор деликатно освободился и заглянул в последнюю комнату. Там он увидел Диану. Сначала он не понял, что это Диана, а потом кисло подумал: очень мило! Здесь было полно народу, каких-то полужнакомых мужчин и женщин, они стояли кругом и хлопали в ладоши, а в центре круга Диана отплясывала с тем самым желтолицым пижоном, обладателем орлиного профиля. У нее горели глаза, горели щеки, волосы летали над плечами и черт ей был не брат. Орлиный профиль очень старался соответствовать.

Странно, подумал Виктор. В чем дело?... Что-то здесь было не так. Танцует она хорошо, просто прекрасно танцует. Как учитель танцев. Не танцует, а показывает, как танцевать... Даже не как учитель, а как ученик на экзаменах. Очень хочет получить пятерку... Нет, не то. Слушай, милый, ты же с Дианой танцуешь! Неужели ты этого не замечаешь? Виктор привычно напряг воображение. Актер танцует на сцене, все хорошо, все прекрасно, все идет, как надо, без накладок, а дома несчастье... нет, не обязательно

несчастье, просто ждут, когда же он вернется, и он тоже ждет, когда же дадут занавес и погасят огни... и даже никакой не актер, а посторонний человек, изображающий актера, который сам играет совсем уже постороннего человека... Неужели Диана не чувствует? Это же фальшивка, манекен. Ни капли близости между ними, ни капли соблазна, ни тени желания... Говорят друг другу что-то, представить не можно — что. Шерочка с машерочкой... «Вы не вспотели?» «Да, читал, и даже два раза...» Тут он увидел, что Диана, распахивая гостей, бежит к нему.

— Пошли плясать! — закричала она еще издали.

Кто-то преградил ей дорогу, кто-то схватил ее за руку, она вырвалась, смеясь, а Виктор все искал глазами желтолицего и не находил, и это неприятно его беспокоило. Она подбежала к нему, вцепилась в руку и потащила в круг.

— Пошли, пошли! Здесь все свои — вся пьянь, рвань, дрянь... Покажи им, как надо! Этот мальчишка ничего не умеет...

Она втащила его в круг, и кто-то в голос крикнул: «Писателю Баневу — ура!». Замолкшая на секунду радиола, снова залаяла и залязгала, Диана прижалась к плечу, а потом отпрянула, от нее пахло духами и вином, она была горячая, и Виктор теперь ничего не видел, кроме ее возбужденного лица и летящих волос.

— Пляши! — крикнула она, и он стал плясать. — Молодец, что приехал.

— Да, да.

— Зачем ты трезвый? Вечно ты трезвый, когда не надо.

— Я буду пьяный.

— Сегодня ты мне нужен пьяный.

— Буду.

— Чтобы делать с тобой, что хочу. Не ты со мной, а я.

— Да.

Она удовлетворенно смеялась, и они плясали молча, ничего не видя и ни



о чем не думая. Как во сне, как в бою. Такая она сейчас была — как сон, как бой. Диана, на которую нашло... Вокруг били в ладоши и вскрикивали, кажется, еще кто-то пытался плясать, но Виктор отшвырнул его, чтобы не мешал, а Росшепер протяжно кричал: «О мой бедный пьяный народ!»

— Он импотент?

— Еще бы. Я его мою.

— И как?

— Абсолютно.

— О мой бедный пьяный народ! — стонал Росшепер.

— Пошли отсюда, — сказал Виктор.

Он поймал ее руку и повел. Пьянь и рвань расступилась перед ним, воняя спиртом и чесноком, а в дверях путь преградил губастый молокосос с румянцем на всю щеку и сказал что-то наглое, кулаки у него чесались, но Виктор сказал ему: «Потом, потом», — и молокосос исчез. Держась за руки, они пробежали по пустому коридору, затем Виктор, не выпуская ее руки, отпер дверь, и, не выпуская ее руки, запер дверь изнутри и было жарко, стало нестерпимо жарко, душно, и комната была сначала широкая и просторная, а потом сделалась узкой и тесной, и тогда Виктор распахнул окно, и черный сырой воздух залил его голые плечи и грудь. Он вернулся в кровать, нашарил в темноте бутылку с джином, отхлебнул и передал Диане. Потом он лег, и слева тек холодный воздух, а справа было горячее шелковистое и нежное. Теперь он слышал, что пьянка продолжается, гости пели хором.

— Это надолго? — спросил он.

— Что? — сказала Диана сонно.

— Долго они будут выть?

— Не знаю. Какое нам дело? — она повернулась на бок и легла щекой на его плечо. — Холодно, — пожаловалась она.

Они повозились, забираясь под одеяло.

— Не спи, — сказал он.

— Угу, — пробормотала она.

— Тебе хорошо?

— Угу.

— А если за ухо?

— Угу... Отстань, больно.

— Слушай, а нельзя здесь пожить недельку?

— Можно.

— А где?

— Я спать хочу. Дай поспать бедной пьяной женщине.

Он замолчал и лежал не шевелясь. Она уже спала. Так я и сделаю, подумал он. Здесь будет хорошо, тихо. Только не вечером. Не станет же он пьянствовать каждый вечер, ему же лечиться надо... Пожить здесь денька три

— четыре... пять-шесть.. и меньше пить, совсем не пить, и поработать... давно я не работал... Чтобы начать работать, надо хорошенько заскучать, чтобы ничего больше не хотелось... Он вздрогнул, задремывая. Насчет Ирмы... Насчет Ирмы я напишу Роц-Тусову, вот что я сделаю. Не струсил бы Роц-Тусов, трус он. Должен мне девятьсот крон... Когда речь заходит о господине Президенте, все это не имеет значения, все мы становимся трусами. Почему мы все-таки трусы? Чего мы, собственно, боимся? Перемен мы боимся. Нельзя будет пойти в писательский кабак и пропустить рюмку очищенной... швейцар не будет кланяться... и вообще швейцара не будет, самого сделают швейцаром. Плохо, если на рудники... это действительно плохо... Но это же редко, времена не те... смягчение нравов. Сто раз я об этом думал и сто раз обнаруживал, что бояться в общем-то нечего, а все равно боюсь. Потому что тупая сила, подумал он. Это страшная штука, когда против тебя тупая, свиная со щетиной сила, неуязвимая ни для логики, неуязвимая ни для эмоций... И Дианы не будет...

Он задремал и снова проснулся, потому что под открытым окном громко

разговаривали и ржали, как животные. Затрещали кусты.

— Не могу я их сажать, — сказал пьяный голос полицмейстера. — Нет такого закона...

— Будет, — сказал голос Росшепера. — Я депутат или нет?

— А такой закон есть, чтобы под городом — рассадник заразы? — рывкнул бургомистр.

— Будет, — упрямо сказал Росшепер.

— Они не заразные, — пробормотал фальцетом директор гимназии. — Я имею ввиду, что в медицинском отношении...

— Эй, гимназия, — сказал Росшепер, — расстегнуться не забудь.

— А такой закон есть, чтобы честных людей разоряли? — рывкнул бургомистр. — Чтоб разоряли, есть такой закон?

— Будет, я тебе говорю! — сказал Росшепер. — Я депутат или нет?

«Чем бы их садануть?» — подумал Виктор.

— Росшепер! — сказал полицмейстер. — Я тебе друг? Я тебя, подлеца, выбирал, я тебя, подлеца, на руках носил. А теперь они шлятся, заразы по городу. Ничего не могу. Закона нет, понимаешь?

— Будет, — сказал Росшепер. — Я тебе говорю, будет. В связи с заражением атмосферы...

— Нравственной! — вставил директор гимназии. — Нравственной и моральной.

— Что?.. В связи, говорю, с отравлением атмосферы и по причине недостаточности обрыбления прилежащих водоемов... заразу ликвидировать и учредить в отдаленной местности. Годится?

— Дай, я тебя поцелую, — сказал полицмейстер.

— Молодец, — сказал бургомистр. — Голова. Дай я тебя тоже...

— Ерунда, — сказал Росшепер. — Раз плюнуть... Споем? Нет, не желаю. Пошли еще по маленькой.

— Правильно. По маленькой — и домой.

Снова затрещали кусты, Росшепер сказал уже где-то в отдалении: «Эй, гимназия, застегнуться забыл!» и под окном стало тихо. Виктор снова задремал и просмотрел какой-то незначительный сон, а потом раздался телефонный звонок.

— Да, — сказала Диана хрипло. — Да, это я... — Она откашлялась. — Ничего, ничего, я слушаю... Все хорошо, он был по-моему доволен...

Она разговаривала, перевалившись через Виктора, и он вдруг почувствовал, как напряглось ее тело.

— Странно, — сказала она. — Хорошо, я сейчас посмотрю... Да... Хорошо, я ему скажу.

Она положила трубку, перелезла через Виктора и зажгла ночник.

— Что случилось? — спросил Виктор сонно.

— Ничего. Спи, я сейчас вернусь.

Сквозь прижмуренные веки он смотрел, как она собирает разбросанное белье, и лицо у нее было такое серьезное, что он встревожился. Она быстро оделась, и вышла, на ходу одергивая белое платье. Росшеперу плохо, подумал он, прислушиваясь. Допился, старый мерин. В огромном здании было тихо и он отчетливо слышал шаги Дианы в коридоре, но она шла не направо, к апартаментам Росшепера, как он ожидал, а налево. Потом скрипнула дверь и шаги стихли. Он повернулся набок и попробовал снова заснуть, но сна не было он понял, что ждет Диану и что ему не заснуть, пока она не придет. Тогда он сел и закурил. Желвак на затылке принялся пульсировать, и он поморщился. Диана не возвращалась. Почему-то он вспомнил желтолицего плясуна с орлиным профилем. Он-то здесь при чем? — подумал Виктор. Артист, который играет другого артиста, который играет третьего... А, вот в чем дело: он вышел как раз оттуда, слева, куда ушла Диана. Дошел до лестничной площадки и превратился в пижона. Сначала играл светского льва, потом стал играть разболтанного хлыща... Виктор снова прислушался. На редкость тихо, все спят... храпит кто-то... Потом

снова скрипнула дверь, и слышались приближающиеся шаги. Диана вошла, лицо ее по-прежнему было серьезно. Ничего не кончилось, происшествие продолжается. Диана подошла к телефону и набрала номер.

— Его нет, — сказала она. — Нет-нет, он ушел... Я тоже... Ничего, ничего, что вы... Спокойной ночи.

Она положила трубку, постояла немного, смотря в темноту за окном, затем села на кровать рядом с Виктором. В руке у нее был цилиндрический фонарик. Виктор закурил сигарету и подал ей. Она молча курила, о чем-то напряженно думая, а потом спросила:

— Ты когда заснул?

— Не знаю, трудно сказать.

— Но уже после меня?

— Да.

Она повернула к нему лицо.

— Ты ничего не слышал? Какого-нибудь скандала, драки...

— Нет, — сказал Виктор. — По-моему, все было очень мирно. Сначала они пели, потом Росшепер с компанией мочился у нас под окнами, потом я заснул... Они уже собирались разъезжаться.

Она бросила сигарету за окно и поднялась.

— Одевайся, — сказала она.

Виктор усмехнулся и протянул руку за трусами. Слушаюсь и повинуюсь, подумал он. Хорошая вещь — повиновение. Только не надо ни о чем спрашивать. Он спросил:

— Пойдем или поедем?

— Что?... Сначала пойдем, а там видно будет.

— Кто-нибудь пропал?

— Кажется.

— Росшепер?

Он вдруг поймал на себе ее взгляд. Она смотрела на него с сожалением.

Она уже немного раскаивалась, что позвала его. Она спрашивала себя: а кто он, собственно, такой, чтобы брать его с собой?

— Я готов, — сказал он.

Она все еще сомневалась, задумчиво играя фонариком.

— Ну, ладно... тогда пошли. — Она не двигалась с места.

— Может быть, отломать у стула ножку? — предложил Виктор. — Или, скажем, у кровати...

Она встрепелулась.

— Нет, ножка не годится. — Она выдвинула ящик стола и вынула огромный черный пистолет. — На, — сказала она.

Виктор насторожился было, но это оказался спортивный мелкокалиберный пистолет. И к тому же без обоймы.

— Давай патроны, — сказал Виктор. Она непонимающе посмотрела на него, потом посмотрела на пистолет и сказала:

— Нет. Патроны не понадобятся. Пошли.

Виктор пожал плечами и сунул пистолет в карман. Они спустились в вестибюль и вышли на крыльцо. Туман поредел, моросил хилый дождик. Машин у крыльца не было. Диана свернула в аллею между мокрыми кустами и включила фонарик. Дурацкое положение, подумал Виктор. Ужасно хочется спросить, в чем дело, а спросить нельзя. Хорошо бы придумать, как спросить. Не спросить, а так — отпустить замечание с вопросом в подтексте. Как-нибудь облитически. Может быть, драться придется? Неохота... Буду бить рукояткой. Прямо между глаз... А как там мой желвак? Желвак оказался на месте и побаливал. Странные, однако, обязанности у медсестры в этом санатории... А ведь я всегда считал, что Диана — женщина с тайной. С первого взгляда и все пять дней... Ну и сырость, надо было глотнуть перед уходом. Как только вернусь, сейчас же глотну... А я молодец, подумал он. Никаких вопросов. Слушаюсь и повинуюсь.

Они обошли крыльцо, пробрались через сирень и оказались перед

оградой. Диана посветила. Одного железного прута в ограде не было.

— Виктор, — сказала она негромко. — Сейчас мы пойдем по тропинке. Ты пойдешь сзади. Смотри под ноги, и ни шагу в сторону. Понял?

— Понял, — покорно сказал Виктор. — Шаг влево, шаг вправо, — стреляю.

Диана пролезла первой и посветила Виктору. Потом они очень медленно двинулись под гору. Это был восточный склон холма, на котором стоял санаторий. Вокруг шумели под дождем невидимые деревья. Раз Диана поскользнулась, и Виктор едва успел схватить ее за плечи. Она нетерпеливо вывернулась и пошла дальше. Каждую минуту она повторяла: «Смотри под ноги... Держись за мной...» Виктор послушно смотрел вниз, на ноги Дианы, мелькающие в прыгающем светлом круге. Сначала он все ожидал удара по затылку, прямо по желваку, или чего-нибудь в этом роде, а потом решил: вряд ли. Концы с концами не сходились. Просто, наверное, удрал какой-нибудь псих — например, у Росшепера случилась белая горячка, и его придется вести обратно, пугая разряженным пистолетом...

Диана неожиданно остановилась и что-то сказала, но ее слова не дошли до сознания Виктора, потому что в следующую секунду он увидел возле тропинки чьи-то блестящие глаза, неподвижные, огромные, пристально глядевшие из-под мокрого выпуклого лба — только глаза и лоб, и ничего больше, ни рта, ни тела — ничего. Сырая тяжелая темнота и в светлом круге

— блестящие глаза и неестественно белый лоб.

— Сволочи, — сказала Диана перехваченным голосом. — Так я и знала. Зверье.

Она упала на колени, луч скользнул вдоль черного тела и Виктор увидел какую-то блестящую металлическую дугу, цепь в траве, а Диана скомандовала: «Скорее, Виктор». Он присел рядом с нею на корточки и только теперь понял, что это капкан, а в капкане — нога человека. Он обеими руками вцепился в железные челюсти и попытался их развести, но они

подались чуть-чуть и сомкнулись снова. «Дурак! — крикнула Диана. — Пистолетом!» Он скрипнул зубами, ухватился поудобнее, напряг все мускулы так, что заскрипело в плечах, и челюсти разошлись. «Тащи», — хрипло сказал он. Нога исчезла, железные дуги сомкнулись снова и сжали ему пальцы. «Подержи фонарик,» — сказала Диана. «Не могу, — виновато сказал Виктор. — Попался. Возьми у меня из кармана пистолет...» Диана чертыхнулась, полезла к нему в карман. Он снова развел капкан, она вставила между скобами рукоятку, и он освободился.

— Подержи фонарик, — повторила она. — Я посмотрю, что с ногой.

— Кость раздроблена, — сказал из темноты напряженный голос. — Несите меня в санаторий и вызывайте машину.

— Правильно, — сказала Диана. — Сейчас, Виктор, давай фонарь, возьми его. Она посветила.

Человек сидел на прежнем месте, прислонившись к стволу дерева. Нижняя половина его лица была закутана черной повязкой. Очкарик, подумал Виктор. Мокрец. Как он сюда попал?

— Бери же, — нетерпеливо сказала Диана. — На спину.

— Сейчас, — отозвался он. Ему вспомнились желтые круги вокруг глаз. Подкатило к горлу. — Сейчас... — Он присел возле мокреца на корточки и повернулся к нему спиной. — Возьмите меня за шею, — сказал он.

Мокрец оказался тощим и легким. Он не двигался и, даже казалось, не дышал, и он не стонал, когда Виктор поскальзывался, но всякий раз его тело сводило судорогой. Тропинка была гораздо круче, чем думал Виктор, и когда они дошли до ограды, он основательно запыхался. Трудно оказалось протащить мокреца через щель в ограде, но и с этим они в конце концов справились.

— Куда его? — спросил Виктор, когда они подошли к подъезду.

— Пока в вестибюль, — ответила Диана.

— Не надо, — тем же напряженным голосом произнес мокрец. —



Оставьте меня здесь.

— Здесь дождь, — возразил Виктор.

— Перестаньте болтать, — сказал мокрец. — Я останусь здесь.

Виктор промолчал и стал подниматься по ступенькам.

— Оставь его, — сказала Диана.

Виктор остановился.

— Какого черта, — сказал он. — Здесь же дождь.

— Не будьте дураком, — повторил мокрец. — Оставьте... здесь...

Виктор, не говоря ни слова, шагая через три ступеньки, поднялся к двери и вошел в вестибюль.

— Кретин, — тихо сказал мокрец и уронил голову на его плечи.

— Болван, — сказала Диана, догоняя Виктора и хватая его за рукав. — Ты его убьешь, идиот! Немедленно вынеси и положи под дождь! Немедленно, слышишь? Ну, чего стоишь?

— С ума вы все посходили, — сердито и растерянно сказал Виктор.

Он повернулся, пнул дверь и вышел на крыльцо. Дождь словно только и ждал этого. Только что он лениво моросил, а тут вдруг хлынул настоящим ливнем. Мокрец тихонько застонал, поднял голову и вдруг задышал часто-часто, как загнанный. Виктор все еще медлил, инстинктивно осматриваясь в поисках какого-нибудь навеса.

— Положите меня, — сказал мокрец.

— В лужу? — язвительно и горько спросил Виктор.

— Это безразлично... Положите.

Виктор осторожно опустил его на керамические плиты крыльца, и мокрец сразу вытянулся, и раскинул руки, правая нога его была неестественно вывернута, огромный лоб в свете сильной лампы казался синевато-белым. Виктор сел рядом на ступеньку. Ему хотелось уйти в вестибюль, но это было невозможно — оставить под проливным дождем раненого человека, а самому уйти в тепло. «Сколько раз меня сегодня

называли дураком?» — подумал он, обтирая лицо ладонью. Ох, что-то много. И, кажется, в этом есть доля истины, поскольку, дурак, он же болван, он же кретин и прочее — это невежда, упорствующий в своем невежестве. А ведь ей-богу, ему под дождем лучше! И глаза открыл, и не такие они у него странные... Мокрец, подумал он. Да, пожалуй мокрец а не очкарик. Как это его в капкан занесло? И откуда здесь капкан? Второго мокреца сегодня встречаю, и у обоих неприятности...

Диана в вестибюле говорила по телефону. Виктор прислушался.

— Нога! ...Да. Раздроблена кость... Хорошо. Скорее, мы ждем.

Сквозь стеклянную дверь Виктор увидел, как она повесила трубку и побежала вверх по лестнице. Что-то у нас в городе стало нехорошо с мокрецами. Возня какая-то вокруг них. Что-то они всем стали мешать, даже директору гимназии. Даже Лоле, вспомнил он вдруг. Кажется, она тоже проходилась насчет них... Он посмотрел на мокреца. Мокрец смотрел на него.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Виктор. Мокрец молчал.

— Вам что-нибудь нужно? — спросил Виктор, повышая голос. — Глоток джину?

— Не орите, — сказал мокрец. — Я слышу.

— Больно? — сочувственно спросил Виктор.

— А вы как думаете?

На редкость неприятный человек, подумал Виктор. Впрочем, бог с ним. Встретились и разошлись. А ему больно...

— Ничего, — сказал он. — Потерпите еще несколько минут. Сейчас за вами приедут.

Мокрец ничего не ответил, лоб его сморщился, глаза закрылись. Он стал похож на мертвеца — плоский и неподвижный под проливным дождем. На крыльцо выскочила Диана с докторским чемоданчиком, присела рядом и стала что-то делать с покалеченной ногой. Мокрец тихонько зарычал, но

Диана не произнесла успокаивающих слов, какие обычно говорят в таких случаях врачи.

— Тебе помочь? — спросил Виктор. Она не ответила. Он поднялся, и Диана, не поворачивая головы, проговорила:

— Подожди, не уходи.

— Я не уйду, — сказал Виктор. Он смотрел, как она ловко накладывает шину.

— Ты еще понадобишься, — сказала Диана.

— Я не уйду, — повторил Виктор.

— Вообще-то, ты можешь сбегать наверх. Сбегай, хлебни чего-нибудь, пока есть время, но потом сразу возвращайся.

— Ничего, — сказал Виктор. — Обойдусь.

Потом где-то за пеленой дождя зарычал мотор, вспыхнули фары. Виктор увидел какой-то джип, осторожно заворачивающий в ворота. Джип подкатил к крыльцу, и из него грузно выбрался Юл Голем в своем неуклюжем плаще. Он поднялся по ступенькам, нагнулся над мокрецом, взял его за руку. Мокрец глухо сказал:

— Никаких уколов.

— Ладно, — сказал Голем и посмотрел на Виктора. — Бери его.

Виктор взял мокреца на руки и понес к джипу. Голем обогнал его, распахнул дверцу и залез внутрь.

— Давайте его сюда, — сказал он из темноты. — Нет, ногами вперед... Смелее... Придержите за плечи...

Он сопел и возился в машине. Мокрец снова зарычал, и Голем сказал ему что-то непонятное, а может быть выругался, что-то вроде «Шесть углов на шее...» Потом он вылез наружу, захлопнул дверцу и, усаживаясь за руль, спросил Диану:

— Вы им звонили?

— Нет, — ответила Диана. — Позвонить?

— Теперь уже не стоит, — сказал Голем, — а то они все законопатят. До свидания.

Джип тронулся с места, обогнул клумбу и укатил по аллее.

— Пойдем, — сказала Диана.

— Поплывем, — сказал Виктор. Теперь, когда все кончилось, он не чувствовал ничего больше, кроме раздражения.

В вестибюле Диана взяла его под руку.

— Ничего, — сказала она. — Сейчас переоденешься в сухое, выпьешь водочки, и все станет хорошо.

— Течет, как с мокрой собаки, — сердито пожаловался Виктор. — И потом, может быть, ты объяснишь, что здесь произошло?

Диана устало вздохнула.

— Да ничего здесь особенного не произошло. Не надо было фонарик забывать.

— А капканы на дорогах — это у вас в порядке вещей?

— Бургомистр ставит, сволочь...

Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору.

— Он сумасшедший? — осведомился Виктор. — Это же уголовное дело. Или он действительно сумасшедший?

— Нет. Он просто сволочь и ненавидит мокрецов. Как и весь город.

— Это я заметил. Мы их тоже не любим, но капканы... А что мокрецы им сделали?

— Надо же кого-то ненавидеть, — сказала Диана. В одних местах ненавидят евреев, где-то еще негров, а у нас мокрецов.

Она остановилась перед дверью. Диана повернула ключ, вошла и зажгла свет.

— Подожди, — сказал Виктор, озираясь. — Куда ты меня привела?

— Это лаборатория, — ответила Диана. — Я сейчас...

Виктор остался в дверях и смотрел, как она ходит по огромной комнате и

закрывает окна. Под окнами темнели лужи.

— А что он здесь делал ночью? — спросил Виктор.

— Где? — спросила Диана, не оборачиваясь.

— На тропинке... Ты ведь знала, что он здесь?

— Ну, понимаешь, — сказала она, — в лепрозории плохо с медикаментами. Иногда они приходят к нам, просят...

Она закрыла последнее окно и прошлась по лаборатории, оглядывая столы, заставленные приборами и химической посудой.

— Гнусно все это, — сказал Виктор. — Ну и государство. Куда ни приедешь — везде какая-нибудь дрянь... Пошли, а то я замерз.

— Сейчас, — сказала Диана.

Она взяла со стола какую-то темную одежду и встряхнула ее. Это был мужской вечерний костюм. Она аккуратно повесила его в шкафчик для спецодежды. Откуда здесь костюм? — подумал Виктор. Причем, какой-то знакомый костюм...

— Ну вот, — сказала Диана, — ты как хочешь, а я сейчас залезу в горячую ванну.

— Послушай, Диана, — сказал Виктор осторожно. — А кто был этот... с таким вот носом... желтолицый? С которым ты плясала...

Диана взяла его за руку.

— Видишь ли, — сказала она, помолчав, — это мой муж... Бывший муж...

#### 4

— Давно я вас не видел в городе, — сказал Павор насморочным голосом.

— Не так уж давно, — возразил Виктор. — Всего два дня.

— Можно с вами посидеть, или вы хотите побыть вдвоем? — спросил Павор.

— Садитесь, — вежливо сказала Диана.

Павор сел напротив нее и крикнул: «Официант, двойной коньяк!» Смеркалось, швейцар задергивал шторы на окнах. Виктор включил торшер.

— Я вами восхищаюсь, — обратился Павор к Диане. — Жить в такой комнате и сохранить прекрасный цвет лица... — Он чихнул. — Извините. Эти дожди меня доконают... Как работается? — спросил он Виктора.

— Неважно. Не могу я работать, когда пасмурно — все время хочется выпить.

— Что это за скандал вы учинили у полицмейстера? — спросил Павор.

— А, чепуха, — сказал Виктор. — Искал справедливости.

— А что случилось?

— Скотина бургомистр охотился на мокрецов с капканами. Один попался, повредил ногу. Я взял капкан, пошел в полицию и потребовал расследования.

— Так, — сказал Павор. — А дальше?

— В этом городе странные законы. Поскольку заявления от потерпевшего не поступило, считается, что преступления не было, а был несчастный случай, в коем никто, кроме потерпевшего не повинен. Я сказал полицмейстеру, что приму это к сведению, а он мне объявил, что это угроза; на чем мы и расстались.

— А где это случилось? — спросил Павор.

— Около санатория.

— Около санатория? Что это мокрецу понадобилось около санатория?

— По-моему, это никого не касается, — резко сказала Диана.

— Конечно, — сказал Павор — Я просто удивился... — Он сморщился, зажмурил глаза и со звоном чихнул. — Фу, черт, — сказал он. — Прошу прощения.

Он полез в карман и вытащил большой носовой платок. Что-то со стуком упало на пол. Виктор нагнулся. Это был кастет. Виктор поднял его и протянул Павору.

— Зачем вы это таскаете? — спросил он.

Павор, зарывшись лицом в носовой платок, смотрел на кастет покрасневшими глазами.

— Это все из-за вас, — произнес он сдавленным голосом и высморкался.

— Это вы меня напугали своим рассказом... А между прочим, говорят, здесь действует какая-то местная банда. То ли бандиты, то ли хулиганы, а мне, знаете ли, не нравится, когда меня бьют.

— Вас часто били? — спросила Диана.

Виктор посмотрел на нее. Она сидела в кресле, положив ногу на ногу и курила, опустив глаза. Бедный Павор, подумал Виктор. Сейчас тебя отошьют... Он протянул руку и одернул юбку у нее на коленях.

— Меня? — сказал Павор. — Неужели у меня вид человека, которого часто бьют? Это надо поправить. Официант, еще двойной коньяк!... Да, так на следующий день я зашел в слесарную мастерскую, и мне там в два счета смастерили эту штуку. — Он с довольным видом осмотрел кастет. — Хорошая штучка, даже Голему понравилась...

— Вас так и не пустили в лепрозорий? — спросил Виктор.

— Нет, не пустили, и надо понимать, не пустят. Я уже разуверился. Я уже написал жалобы в три департамента, а теперь сижу и сочиняю отчет, — пожаловался Павор. — На какую сумму лепрозорий в минувшем году получил подштанников. Отдельно мужских, отдельно женских. Дьявольски увлекательно.

— Напишите, что у них не хватает медикаментов, — посоветовал Виктор. Павор удивленно поднял брови, а Диана лениво сказала:

— Лучше бросьте вашу писанину, а выпейте стакан горячего вина и ложитесь спать.

— Намек понял, — сказал Павор со вздохом. — Придется идти... Вы знаете, в каком я номере? — спросил он Виктора. — Навестили бы как-нибудь.

— Двести тридцать третий, — сказал Виктор. — Обязательно.

— До свидания, — сказал Павор, поднимаясь. — Желаю приятно провести вечер.

Они смотрели, как он подошел к стойке, взял бутылку красного вина и пошел к выходу.

— Язык у тебя длинный, — сказала Диана,

— Да, — согласился Виктор. — Виноват. Понимаешь, он мне что-то нравится.

— А мне — нет, — сказала Диана.

— И доктору Р. Квадриге тоже — нет. Интересно, почему?

— Морда у него мерзкая, — ответила Диана. — Белокурая бестия. Знаю я таких. Настоящие мужчины. Без чести, без совести, повелители дураков.

— Вот тебе и на, — удивился Виктор. — А я-то думал, что такие мужчины должны тебе нравиться.

— Теперь нет мужчин, — возразила Диана. — Теперь либо фашисты, либо бабы.

— А я? — осведомился Виктор с интересом.

— Ты? Ты слишком любишь маринованные миноги. И одновременно справедливость.

— Правильно. Но, по-моему, это хорошо.

— Это неплохо. Но если бы тебе пришлось выбирать, ты бы выбрал миноги, вот что плохо. Тебе повезло, что у тебя талант.

— Что это ты такая злая сегодня? — спросил Виктор.

— А я вообще злая. У тебя — талант, у меня — злость. Если у тебя отобрать талант, а у меня — злость, то останутся два совокупляющихся нуля.

— Нуль нулю рознь, — заметил Виктор. — Из тебя даже нуль получился бы не плохой — стройный, прекрасно сложенный нуль. И, кроме того, если у тебя отобрать твою злость — ты станешь доброй, что тоже в общем неплохо...



— Если у меня отобрать злость я стану медузой. Чтобы я стала доброй, нужно заменить злость добротой.

— Забавно, — сказал Виктор. — Обычно женщины не любят рассуждать. Но уж когда начинают, то становятся удивительно категоричными. Откуда ты, собственно, взяла, что у тебя только злость и никакой доброты? Так не бывает. Доброта в тебе тоже есть, только она не заметна за злостью. В каждом человеке намешано всего понемножку, а жизнь выдавливает из этой смеси что-нибудь на поверхность...

В зал ввалилась компания молодых людей, и сразу стало шумно. Молодые люди чувствовали себя непринужденно: они обругали официанта, погнали его за пивом, а сами обсели столик в дальнем углу и принялись громко разговаривать и гоготать во все горло. Здоровенный губастый дылда с румяными щеками, прищелкивая на ходу пальцами и пританцовывая, направился к стойке. Тэдди ему что-то подал, он, оттопырив мизинец, взял рюмку двумя пальцами, повернулся к стойке спиной, оперся на нее локтями и скрестил ноги, победительно оглядывая пустой зал. «Привет, Диана! — заорал он. — Как жизнь?» Диана равнодушно улыбнулась ему.

— Что это за диво? — спросил Виктор.

— Некий Фламин Ювента, — ответила Диана. — Племянничек полицмейстера.

— Где-то я его видел, — сказал Виктор.

— Да ну его к черту, — нетерпеливо сказала Диана. — Все люди медузы, и ничего в них такого не замешано. Попадают изредка настоящие, у которых есть что-нибудь свое — доброта, талант, злость... Отними у них это, и ничего не останется, станут медузами, как и все. Ты, кажется, вообразил, что нравишься мне своим пристрастием к миногам и справедливости? Чепуха! У тебя талант, у тебя книги, у тебя известность, а в остальном ты такая же дремучая рохля, как и все.

— То что ты говоришь, — объявил Виктор, — до такой степени

неправильно, что я даже не обижаюсь. Но ты продолжай, у тебя очень интересно меняется лицо, когда ты говоришь. Он закурил и передал ей сигарету. — Продолжай.

— Медузы, — сказала она горько. — Скользкие глупые медузы. Копаются, ползают, стреляют, сами не знают, чего хотят, ничего не умеют, ничего по-настоящему не любят... как черви в сортире.

— Это неприлично, — сказал Виктор. — Образ, несомненно выпуклый, но решительно не аппетитный. И вообще все это банальности. Диана, моя, ты не мыслитель. В прошлом веке в провинции это еще как-то звучало бы... общество, по крайней мере, было бы сладко шокировано, и бледные юноши с горящими глазами таскались бы за тобой по пятам. Но сегодня это уже очевидности. Сегодня уже все знают, что есть человек. Что с человеком делать — вот вопрос. Да и то признаться, уже навяз в зубах.

— А что делают с медузами?

— Кто? Медузы?

— Мы.

— Насколько я знаю-ничего. Консервы из них, кажется, делают.

— Ну и ладно, — сказала Диана. — Ты что-нибудь заработал за это время?

— А как же! Я написал страшно трогательное письмо другу Роц-Тусову. Если после этого письма он не устроит Ирму в пансионат, значит, я никуда не годен.

— И это все?

— Да, — сказал Виктор. — Все остальное я выбросил.

— Господи! — сказала Диана. — А я то за тобой ухаживала, старалась не мешать, отгоняла Росшепера...

— Купала меня в ванне, — напомнил Виктор.

— Купала тебя в ванне, поила тебя кофе...

— Погоди, — сказал Виктор. — Но ведь я тоже купал тебя в ванне...

— Все равно.

— Как это-все равно? Ты думаешь, легко работать, выкупав тебя в ванне? Я сделал шесть вариантов описания этого процесса, и все они никуда не годятся.

— Дай почитать.

— Только для мужчин, — сказал Виктор. — Кроме того, я их выбросил, разве я тебе не сказал? И вообще, там было так мало патриотизма и национального самосознания, что все равно никому нельзя было бы показать.

— Скажи, а ты как — сначала напишешь, а потом уже вставляешь национальное самосознание?

— Нет, — сказал Виктор. — Сначала я проникаюсь национальным самосознанием до глубины души: читаю речи господина Президента, зубрю наизусть богатырские саги, посещаю патриотические собрания. Потом, когда меня начинает рвать — не тошнить, а уже рвать, — я принимаюсь за дело... Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, что мы будем делать завтра.

— Завтра у тебя встреча с гимназистами.

— Это быстро. А потом?

Диана не ответила. Она смотрела мимо. Виктор обернулся... К ним подходил мокрец во всей своей красе: черный, мокрый, с повязкой на лице.

— Здравствуйте, — сказал он Диане. — Голем еще не вернулся?

Виктор поразился, какое лицо сделалось у Дианы. Как на картине. Даже не на картине — на иконе. Странная неподвижность. Черт, и ты недоумеваешь, то ли это замысел мастера, то ли бессилие ремесленника. Она не ответила. Она молчала, и мокрец тоже молча смотрел на нее, и никакой неловкости не было в этом молчании — они были вместе, а Виктор и все прочие отдельно. Виктору это очень не понравилось.

— Голем, наверное, сейчас придет, — сказал он громко.

— Да, — сказала Диана. — Присядьте, подождите.

У нее был обычный голос, и она улыбалась мокроцу обычной равнодушной улыбкой. Все было как обычно — Виктор был с Дианой, а мокроц и все прочие были отдельно.

— Прошу! — весело сказал Виктор, указывая на кресло доктора Р.Квадриги.

Мокрец сел, положив на колени руки в черных перчатках. Виктор налил ему коньяку. Мокрец привычно-небрежным жестом взял рюмку, покачал, как будто взвешивая, и снова поставил на стол.

— Я надеюсь, вы не забыли? — сказал он Диане.

— Да, — сказала Диана. — Да. Сейчас принесу. Виктор, дай мне ключ от номера, я сейчас приду.

Она взяла ключ и быстро пошла к выходу. Виктор закурил. Что с тобой, приятель? — сказал он себе. Что-то тебе слишком многое мерещится в последнее время. Нежный ты стал, чувствительный какой-то. Ревнивый. А зря, тебя это совершенно не касается — все эти бывшие мужья, все эти странные знакомства... Диана — это Диана, а ты — это ты. Росшепер — импотент. Импотент. Вот и будет с тебя... Он знал, что все это не так просто, что он уже проглотил какую-то траву, но он сказал себе: хватит, и сегодня — сейчас, пока — ему удалось убедить себя, что действительно хватит.

Мокрец сидел напротив, неподвижный и страшный, как чучело. От него пахло сыростью, и еще чем-то, какой-то медициной. Мог ли я подумать, что когда-нибудь буду сидеть с мокроцем в ресторане за одним столиком. Прогресс, ребята, движется куда-то понемножку... Или это мы стали такие всеядные: дошло до нас, наконец, что все люди — братья? Человечество, друг мой, я горжусь собою... А вы, сударь, отдали бы свою дочь за мокроца?

— Моя фамилия — Банев, — представился Виктор и спросил: — Как здоровье вашего... пострадавшего? Того, что попал в капкан?

Мокрец быстро повернулся к нему. Смотрит, как через бруствер, подумал Виктор.

— Удовлетворительно, — ответил мокрец сухо.

— На его месте я подал бы заявление в полицию.

— Не имеет смысла, — сказал мокрец.

— Почему же? — сказал Виктор. — Не обязательно обращаться в местную полицию, можно обратиться в окружную...

— Нам это не нужно.

Виктор пожал плечами.

— Каждое ненаказанное преступление рождает новое преступление.

— Да, но нас это не интересует.

Они помолчали. Потом мокрец сказал:

— Меня зовут Зурзмансор.

— Знаменитая фамилия, — вежливо сказал Виктор. — Вы не родственник Павлу Зурзмансору? Социологу?

Мокрец прищурил глаза.

— Даже не однофамилец, — сказал он. — Мне говорили, Банев, что завтра вы выступаете в гимназии...

Виктор не успел ответить. За спиной у него двинулось кресло, и молодцеватый баритон произнес:

— А ну, зараза, пошел отсюда вон!

Виктор обернулся. Над ним возвышался губастый Фламин Ювента или как его там, словом, племянничек. Виктор глядел на него не дольше секунды, но уже чувствовал сильнейшее раздражение.

— Вы это кому, молодой человек? — осведомился он.

— Вашему приятелю, — любезно сообщил Фламин Ювента и снова гаркнул: — Тебе говорят, мокрая шкура!

— Одну минуточку, — сказал Виктор и встал. Фламин Ювента, ухмыляясь смотрел на него сверху вниз. Этаким юный Голиаф в спортивной куртке, сверкающей многочисленными эмблемами, наш простейший отечественный штурмфюрер, верная опора нации с резиновой дубинкой в

заднем кармане, гроза левых, правых и умеренных. Виктор протянул руку к его галстуку и спросил, изобразив озабоченность и любопытство: «Что это у вас такое?» И когда юный Голиаф машинально наклонил голову, чтобы поглядеть, что у него там такое, Виктор крепко ущемил его большой нос большим и указательным пальцем. «Э!» — ошеломленно воскликнул юный Голиаф и попытался вырваться, но Виктор его не выпустил, и некоторое время старательно и с ледяным наслаждением крутил и выворачивал этот наглый крепкий нос, приговаривая: «Веди себя прилично, щенок, племянничек, штурмовичок вшивый, сукин сын, хамло...» Позиция была исключительно удобной: юный Голиаф отчаянно лягался, но между ними было кресло, юный Голиаф месил воздух кулаками, но руки у Виктора были длинные и Виктор все крутил, вращал, драл и вывертывал, пока у него над головой не пролетела бутылка. Тогда он оглянулся: на него раздвигая столы и опрокидывая кресла, с грохотом неслась вся банда — пятеро. Причем двое из них были очень рослые. На мгновение все застыло, как на фотоснимке — черный Зурзмандор, спокойно откинувшийся в кресле; Тэдди, повисший в прыжке над стойкой; Диана с белым свертком посередине зала; а на заднем плане в дверях — свирепое усатое лицо швейцара; и совсем рядом — злобные морды с разинутыми ртами. Затем фотография кончилась и началось кино.

Первого верзилу Виктор очень удачно сшиб ударом по скуле. Тот исчез и некоторое время не появлялся. Но другой верзила попал Виктору в ухо. Кто-то еще ударил его ребром ладони по щеке. Видимо, промахнулся по горлу. А еще кто-то — освободившийся Голиаф? — прыгнул на него сзади. Все это было грубое уличное хулиганье — опора нации, — только один из них знал бокс, а остальные жаждали не столько драться, сколько увечить, выдавить глаз, разорвать рот, лягнуть в пах. Будь Виктор один, они бы его искалечили, но с тыла на них набежал Тэдди, который свято исповедовал золотое правило всех вышибал — гасить любую драку в самом зародыше, а с

фланга появилась Диана, Диана Бешеная, оскаленная ненавистью, непохожая на себя, уже без белого пакета, а с тяжелой плетеной бутылкой в руках; и еще подоспел швейцар, человек хотя и пожилой, но, судя по ухваткам, бывший солдат — он действовал связкой ключей, словно это был ремень со штыком в ножнах. Так что когда из кухни прибежали два официанта, делать им было уже нечего. Племянник удрал, забыв на столике транзистор. Один из молодчиков остался лежать под столиком — это был тот, которого Диана свалила бутылкой, остальных четверых Виктор с Тэдди, подбадривая друг друга удалыми возгласами, буквально вынесли из зала на кулаках, прогнали через вестибюль и пинками забили в вертящуюся дверь. По инерции они вылетели наружу сами и только там осознали под дождем полную победу и несколько успокоились.

— Сопляки паршивые, — сказал Тэдди, закуривая сразу две сигареты, — себе и Виктору. — Манеру взяли — каждый четверг буяннить. Прошлый раз недоглядел — два кресла сломали. А кому платить? Мне!

Виктор щупал распухшее ухо.

— Племянничек ушел, — сказал он с сожалением. — Так я до него как следует не добрался.

— Это хорошо, — сказал Тэдди деловито. — С этим губастым лучше не связываться. Дядюшка у него знаешь кто, да и сам он... опора Родины и Порядка, или как они там называются. А драться ты, господин писатель, наострился. Такой, помню, хлипкий соплек был — тебе, бывало, дадут, а ты и под стол. Молодец.

— Такая уж у меня профессия, — вздохнул Виктор. — Продукт борьбы за существование. У нас как ведь — все на одного. А господин Президент за всех.

— Неужели до драки доходит? — простодушно удивился Тэдди.

— А ты думал! Напишут на тебя похвальную статью, что ты-де проникнут национальным самосознанием, идешь искать критика, а он уже с

компанией — и все молодые, задорные крепыши, дети Президента...

— Надо же, — сказал Тэдди сочувственно. — И что?

— По-разному. И так бывает, и эдак.

К подъезду подкатил джип, отворилась дверца, и под дождь, прикрывшись одним плащом, вылезли молодой человек в очках и с портфелем и его долговязый спутник. Из-за руля выбрался Голем. Долговязый с острым, каким-то профессиональным интересом смотрел, как швейцар выбивает через вертящуюся дверь последнего буяна, еще не вполне пришедшего в себя. «Жалко, этого не было, — шепотом сказал Тэдди, указывая на долговязого. — Вот это мастер! Это тебе не ты. Профессионал, понял?» «Понял», — тоже шепотом ответил Виктор. Молодой человек с портфелем и долговязый рысцой пробежали мимо и нырнули в подъезд. Голем неторопливо двинулся было следом, уже издали улыбаясь Виктору, но дорогу ему заступил Зурзматор с белым свертком под мышкой. Он что-то ему сказал вполголоса, после чего Голем перестал улыбаться и вернулся в машину. Зурзматор пробрался на заднее сидение, и джип укатил.

— Эх! — сказал Тэдди. — Не того мы били, господин Банев. Люди кровь из-за него проливают, а он сел в чужую машину и уехал.

— Ну, это ты зря, — сказал Виктор. — Больной несчастный человек, сегодня он, завтра ты. Мы с тобой сейчас пойдем и выпьем, а его в лепрозорий повезли.

— Знаем мы, куда его повезли! — непримиримо сказал Тэдди. — Ничего ты не понимаешь в нашей жизни, писатель.

— Оторвался от нации?

— От нации не от нации, а жизнь нашу ты не знаешь. Поживи-ка у нас: который год дожди, на полях все погнило, дети от рук отбились... Да чего там — ни одной кошки в городе не осталось, от мышей спасенья нет... Э-эх! — сказал он, махнув рукой. — Пошли уж.

Они вернулись в вестибюль, и Тэдди спросил швейцара, уже занявшего



свой пост:

— Что! Много наломали?

— Да, нет, — ответил швейцар, — можно считать, что обошлось. Торшер один покалечили, стену загадили, а деньги я у этого... у последнего отобрал, на вот, возьми.

На ходу считая деньги, Тэдди пошел в ресторан. Виктор последовал за ним. В зале опять установился покой. Молодой человек в очках и долговязый уже скучали над бутылкой минеральной воды, меланхолично пережевывая дежурный ужин. Диана сидела на прежнем месте, очень оживленная, очень хорошенькая, и даже улыбалась занявшему свое место доктору Р.Квадриге, которого обычно не терпела. Перед Р.Квадригой стояла бутылка рому, но он был еще трезв и потом выглядел странным.

— С викторией! — мрачно приветствовал он Виктора. — Сожалею, что не присутствовал при сем хотя бы мичманом.

Виктор рухнул в кресло.

— Красивое ухо, — сказал Р.Квадрига. — Где ты такое достал? Как петушинный гребень.

— Коньяку! — потребовал Виктор. Диана налила ему коньяку. — Ей и только ей обязан я викторией своей, — сказал он, показывая на Диану. — Ты заплатила за бутылку?

— Бутылка не разбилась, — сказала Диана. — За кого ты меня принимаешь? Но как он упал! Боже мой, как он чудесно свалился! Все бы так...

— Приступим, — мрачно сказал Р.Квадрига, и налил себе полный стакан рому.

— Покатился, как манекен, — сказала Диана. — Как кегля... Виктор, у тебя все цело? Я видела, как тебя били ногами.

— Главное цело, — сказал Виктор. — Я специально защищал.

Доктор Р.Квадрига со скворчанием всосал в себя последнюю каплю рома

из стакана, совершенно как кухонная раковина всасывает остатки после мытья посуды. Глаза у него сразу же осоловели.

— Мы знакомы, — поспешно сказал Виктор. — Ты — доктор Рем Квадрига, я писатель Банев...

— Брось, — сказал Р.Квадрига. — Я совершенно трезв. Но я сопьюсь. Это единственное, в чем я сейчас уверен. Вы не можете себе представить, но я приехал сюда полгода назад абсолютно непьющим человеком. У меня больная печень, катар кишок и еще что-то с желудком. Мне абсолютно запрещено пить, а я теперь пьянствую круглые сутки... Я абсолютно никому не нужен. Никогда в жизни этого со мной не бывало. Я даже писем не получаю, потому что старые друзья сидят без права переписки, а новые — неграмотны...

— Никаких государственных тайн, — сказал Виктор. — Я неблагонадежен.

Р. Квадрига снова наполнил стакан и принялся прихлебывать ром как остывший чай.

— Так лучше действует, — сообщил он. — Попробуй, Банев, пригодится... И нечего на меня смотреть! — сказал он вдруг Диане бешено. — Попрошу скрывать свои чувства. А если вам не нравится...

— Тихо, тихо, — сказал Виктор, и Р. Квадрига остыл.

— Они ни черта во мне не понимают, — сказал он грустно. — Никто. Только ты немножко понимаешь. Ты меня всегда понимал. Только ты очень груб, Банев, и всегда меня ранил. Я весь израненный... Они теперь боятся меня ругать, они теперь меня только хвалят. Как похвалит какая-нибудь сволочь — рана. Другая сволочь похвалит — другая рана. Но теперь все это позади. Они еще не знают... Слушай, Банев, какая у тебя замечательная женщина... Я тебя прошу... Попроси ее, пусть придет ко мне в студию... Да нет, дурак! Натурщица! Ты ничего не понимаешь, я такую натурщицу ищу десять лет...

— Аллегорическая картина, — пояснил Виктор Диане. — «Президент и Вечно Юная Нация...»

— Дурак, — грустно сказал Р. Квадрига. — Вы все думаете, что я продаюсь... Ну, правильно, было! Но больше я не пишу президентов... Автопортрет! Понимаешь?

— Нет, — признался Виктор. — Не понимаю. Ты хочешь писать свой портрет с Дианы?

— Дурак, — сказал Р. Квадрига. — Это будет лицо художника...

— Моя задница, — объяснила Диана Виктору.

— Лицо художника! — повторил Р. Квадрига. — Ты ведь тоже художник. И все, кто сидит без права переписки, и все, кто лежит без права переписки... и все, кто живет в моем доме... то есть не живет... Ты знаешь, Банев, я боюсь. Я ведь тебя просил: приди, поживи у меня хоть немножко. У меня вилла, фонтан... А садовник сбежал. Трус... Сам я там жить не могу, в гостинице лучше... Ты думаешь, я пью, потому что продался? Дудки, это тебе не модный роман... Поживешь у меня немного и разберешься... Может быть, ты даже их узнаешь. Может быть, это вовсе не мои знакомые, может быть, это твои. Тогда бы я знал, почему они меня не узнают... Ходят босые... смеются... — Глаза его вдруг наполнились слезами.

— Господа! — сказал он. — Какое счастье, что с нами нет этого Павора. Ваше здоровье!

— Будь здоров, — сказал Виктор, переглянувшись с Дианой. Диана смотрела на Р. Квадригу с брезгливой тревогой. — Никто здесь не любит Павора, — сказал он. — Один я урод какой-то.

— Тихий омут, — произнес доктор Р. Квадрига. — И прыгнувшая лягушка. Болтун. Всегда молчит.

— Просто он уже готов, — сказал Виктор Диане. — Ничего страшного...

— Господа! — сказал доктор Р. Квадрига. — Сударыня! Я считаю своим долгом представиться! Рем Квадрига, доктор «гонорис кауза».

## 5

Виктор пришел в гимназию за полчаса до назначенного времени, но Бол-Кунац уже ждал его. Впрочем, он был мальчиком тактичным, он только сообщил Виктору, что встреча состоится в актовом зале, и сейчас же ушел, сославшись на неотложные дела. Оставшись один, вдыхая забытые запахи чернил, мела, никогда не оседающей пыли, запаха «до первой крови», изнурительных допросов у доски, запаха тюрьмы, бесправия возведенного в принцип, он все надеялся вызвать в памяти какие-то сладкие воспоминания о детстве и юношестве, о рыцарстве, о товариществе, о первой чистой любви, но ничего из этого не получалось, хотя он очень старался, готовый умилиться при первой возможности. Все оставалось по прежнему — и светлые затхлые классы, и поцарапанные доски, парты, изрезанные закрашенными инициалами и апокрифическими надписями, и казематные стены, выкрашенные до половины веселой зеленой краской, и обитая штукатурка на углах — все оставалось по-прежнему неказисто, гадко, наводило злобу и беспросветность.

Он нашел свой класс, хотя и не сразу, нашел свое место, но парта была другая, только на подоконнике еще выделялась глубоко врезанная эмблема Легиона Свободы, и он вспомнил одуряющий энтузиазм тех времен, бело-красные плакаты, жестяные копилки в фонд Легиона, бешеные кровавые драки с красными и портреты во всех газетах, во всех учебниках, на всех стенах — лицо, которое казалось тогда значительным и прекрасным, а теперь стало дряблым, тупым, похожим на кабанье рыло, и огромный, клыкастый брызжущий рот. Такие юные, такие серые, такие одинаковые... И глупые. И этой глупости сейчас не радуешься, не радуешься, что стал умнее, а только обжигающий стыд за себя тогдашнего, серого деловитого птенца, воображающего себя ярким, незаменимым, отборным... И еще стыдные детские вождения, и томительный страх перед девчонкой, о которой ты

уже столько нахвастался, что теперь просто невозможно отступать, а на другой день — оглушительный гнев отца и пылающие уши и все это называется счастливой порой: серость, вожделение, энтузиазм... Плохо дело, подумал он. А вдруг через пятнадцать лет окажется, что и нынешний я так же сер и несвободен, как и в детстве, и даже хуже, потому что теперь я считаю себя взрослым, достаточно много знающим и достаточно пер жившим, чтобы иметь основания для самодовольства и для права судить.

Скромность и только скромность, до самоунижения... и только правда, никогда не ври, по крайней мере — самому себе, но это ужасно: самоуничижаться, когда вокруг столько идиотов, развратников, корыстных лжецов, даже лучшие испещрены пятнами, как прокаженные... Хочешь ты снова стать юным? Нет. А хочешь прожить еще пятнадцать лет? Да. Потому что жить

— это хорошо. Даже когда получаешь удары. Лишь бы иметь возможность бить в ответ... Ну, ладно, хватит. Остановимся на том, что настоящая жизнь есть способ существования, позволяющий наносить ответные удары. А теперь пойдем и посмотрим, какими они стали...

В зале было довольно много ребятишек, и стоял обычный гам, который стих, когда Бол-Кунац вывел Виктора на сцену, и усадил под огромным портретом Президента — даром доктора Р.Квадриги — за стол, покрытый красно-белой скатертью. Потом Бол-Кунац вышел на край сцены и сказал:

— Сегодня с нами будет беседовать известный писатель Виктор Банев, уроженец нашего города, — он повернулся к Виктору: — Как вам удобнее, господин Банев, чтобы вопросы задавались с места или в письменном виде?

— Мне все равно, — сказал Виктор легкомысленно. — Лишь бы их было побольше.

— В таком случае, прошу вас.

Бол-Кунац спрыгнул со сцены и сел в первом ряду. Виктор почесал бровь, оглядывая зал. Их было человек пятьдесят — мальчиков и девочек от

десяти до четырнадцати лет — и они смотрели на него со спокойным ожиданием. Похоже, тут одни вундеркинды, подумал он мельком. Во втором ряду справа он увидел Ирму и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ.

— Я учился в этой самой гимназии, — начал Виктор, — и на этой самой сцене мне пришлось однажды играть Озрика. Роли я не знал, и мне пришлось сочинять ее на ходу. Это было первое, что я сочинил в своей жизни не под угрозой двойки. Говорят, что теперь стало учиться труднее, чем в мое время. Говорят, что у вас появились новые предметы, и то, что мы проходили за три года, вы должны проходить за год. Но вы, наверное, не замечаете, что стало труднее. Ученые полагают, что мозг способен вместить гораздо больше сведений нежели кажется на первый взгляд обыкновенному человеку. Надо только уметь эти сведения впихнуть... — Ага, подумал он сейчас я расскажу вам про гипнопедию. Но тут Бол-Кунац передал ему записку: «Не надо рассказывать о достижениях науки. Говорите с нами, как с равными. Валерьянс. 6-й кл.» — Так, — сказал Виктор. — Тут некий Валерьянс из шестого класса предлагает мне разговаривать с вами, как с равными и предупреждает, чтобы я не излагал достижения науки... Должен тебе сказать, Валерьянс, что я действительно намеревался сейчас поговорить о достижениях гипнопедии. Однако я охотно откажусь от своего намерения хотя и считаю своим долгом проинформировать тебя о том, что большинство равных мне взрослых имеет о гипнопедии лишь самое смутное представление. — Ему было неудобно говорить сидя, он встал и прошелся по сцене. — Должен вам признаться, ребята, что я не люблю встречаться с читателями. Как правило, совершенно невозможно понять, с каким читателем имеешь дело, что ему от тебя надо и что его, собственно, интересует. Потому я стараюсь каждое свое выступление превращать в вечер вопросов и ответов. Иногда получается довольно забавно. Давайте начну спрашивать я? Итак... Все ли читали мои произведения?

— Да, — отозвались детские голоса. — Читали... Все...

— Прекрасно, — сказал Виктор озадаченно. — Польщен, хотя и удивлен. ну, ладно, далее... Желает ли собрание, чтобы я рассказал историю написания какого-нибудь своего романа?

Последовало недолгое молчание, затем в середине зала воздвигся худой прыщавый мальчик, сказал: «нет» и сел.

— Прекрасно, — сказал Виктор. — Это тем более хорошо, что вопреки широко распространенному мнению ничего интересного в истории написания не бывает. Пойдемте дальше... Желают ли уважаемые слушатели узнать о моих творческих планах?

Поднялся Бол-Кунац и вежливо сказал:

— Видите ли, господин Банев, вопросы непосредственно связанные с техникой вашего творчества, лучше было бы обсудить в самом конце беседы, когда прояснится общая картина.

Он сел. Виктор сунул руки в карманы и снова прошелся по сцене. Становилось интересно, или, во всяком случае, необычно.

— А может быть, вас интересуют литературные анекдоты? — вкрадчиво спросил он. — Как я охотился с Хемингуэем. Как Эренбург подарил мне русский самовар. Или что мне сказал Зурзматор, когда мы встретились с ним в трамвае...

— Вы действительно встречались с Зурзматором? — спросили из зала.

— Нет, я шучу, — сказал Виктор. — Так что насчет литературных анекдотов?..

— Можно вопрос? — сказал, воздвигаясь, прыщавый мальчик.

— Да, конечно.

— Какими бы вы хотели видеть нас в будущем?

Без прыщей, мелькнуло в голове у Виктора, но он отогнал эту мысль потому что понял: становится жарко. Вопрос был сильный. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне, каким я хочу видеть себя в настоящем, подумал он. Однако надо было отвечать.

— Умными, — сказал он наугад. — Честными. Добрыми... Хотел бы, чтобы вы любили свою работу... и работали бы на благо людей (Несу, подумал он. Да и как не нести?) Вот примерно так...

Зал тихонько зашумел, потом кто-то спросил, не вставая:

— Вы действительно считаете, что солдат главнее физика?

— Я?! — возмутился Виктор.

— Так я понял из вашей повести «Беда приходит ночью». — Это был белобрысый клоп десяти лет от роду. Виктор крикнул. «Беда» могла быть плохой книгой и могла быть хорошей книгой, но она ни при каких обстоятельствах не была детской книгой, что в ней ни один из критиков не разобрался: все сочли ее порнографическим чтивом, подрывающим мораль и национальное самосознание. И что самое ужасное, белобрысый клоп имел основание полагать, что автор «Беды» считает солдата «главнее» физика — во всяком случае, в некоторых отношениях.

— Дело в том, — сказал Виктор проникновенно, — что... как бы тебе сказать... Всякое бывает.

— Я вовсе не имею в виду физиологию, — возразил белобрысый клоп. — Я говорю о концепции книги. Может быть, «главнее» — не то слово...

— Я тоже не имею в виду физиологию, — сказал Виктор. — Я хочу сказать, что бывают ситуации, когда уровень знаний не имеет значения. Бол-Кунац принял из зала две записки и передал их ему: «Может ли считаться честным и добрым человек, который разбогател и работает на войну» и «Что такое умный человек?» Виктор начал со второго вопроса — он был проще.

— Умный человек, — сказал он, — это тот человек, который сознает несовершенство, незаконченность своих знаний, стремится их пополнить и в этом преуспевает... Вы со мной согласны?

— Нет, — сказала, приподнявшись, хорошенькая девочка.

— А в чем дело?



— Ваше определение не функционально. Любой дурак, пользуясь этим определением, может полагать себя умным. Особенно, если окружающие поддерживают его в этом мнении.

Да, подумал Виктор. Его охватила легкая паника. Это тебе не с братьями-писателями разговаривать.

— В какой-то степени вы правы, — сказал он, неожиданно для себя переходя на «вы». — Но дело в том, что вообще-то «дурак» и «умный» — понятия исторические и, скорее, субъективные.

— Значит, вы сами не беретесь отличить дурака от умного? — это из задних рядов — смуглое существо с прекрасными библейскими глазами, стриженное наголо.

— Отчего же, — сказал Виктор, — берусь. Но я не уверен, что вы всегда согласитесь со мной. Есть старый афоризм: дурак — это инакомыслящий... — Обычно это присловье вызывало у слушателей смех, но сейчас зал молчал и ждал продолжения. — Или инакочувствующий, — добавил Виктор.

Он остро ощущал разочарование зала, но он не знал, что еще сказать. Контакта не получалось, как правило, аудитория легко переходит на позиции выступающего, соглашаясь с его суждениями, и всем становилось ясно, что здесь, в этом зале дураков нет. В худшем случае аудитория не соглашалась и настраивалась враждебно, но и тогда бывало легко, потому что оставалась возможность язвить и высмеивать, а одному спорить со многими не трудно, так как противники всегда противоречат друг другу, и среди них всегда найдется самый шумный и самый глупый, на котором можно плясать ко всеобщему удовольствию.

— Я не совсем понимаю, — произнесла хорошенькая девочка. Вы хотите, чтобы мы были умными, то есть, согласно вашему же афоризму, мыслить и чувствовать так же, как вы. Но я прочла все ваши книги и нашла в них только отрицание. Никакой позитивной программы. С другой стороны, вам хотелось бы, чтобы мы работали на благо людей. То есть фактически на

благо тех грязных и неприятных типов, которыми наполнены ваши книги. А ведь вы отражаете действительность, правда?

Виктору показалось, что он нащупал, наконец, под ногами дно.

— Видите ли, — сказал он, — под работой на благо людей я как раз понимаю превращение людей в чистых и приятных. И это мое пожелание не имеет никакого отношения к моему творчеству. В книгах я пытаюсь изображать все, как оно есть, я не пытаюсь учить или показывать, что нужно делать. В лучшем случае я показываю объект приложения сил, обращаю внимание на то, с чем нужно бороться. Я не знаю, как изменить людей, если бы я знал, я бы был не модным писателем, а великим педагогом или знаменитым психосоциологом. Художественной литературе вообще противопоказано поучать и вести, предлагать конкретные пути, создавать конкретную методологию. Это можно видеть на примере крупнейших писателей. Я преклоняюсь перед Львом Толстым, но только до тех пор, пока он является своеобразным, уникальным по отражательному таланту зеркалом действительности. А как только он начинает учить меня ходить босиком и подставлять щеку, меня охватывает жалость и тоска... Писатель — это прибор, показывающий состояние общества, и лишь в ничтожной степени — орудие для изменения общества. История показывает, что общество изменяют не литературой, а реформами и пулеметами, а сейчас еще и наукой. Литература в лучшем случае показывает, в кого надо стрелять или что нуждается в изменении... — Он сделал паузу, вспомнив о том, что есть еще Достоевский и Фолкнер. Но пока он придумывал, как бы вернуть насчет роли литературы в изучении подноготной индивидуума, из зала сообщили:

— Простите, но все это довольно тривиально. Дело ведь не в этом. Дело в том, что изображаемые вами объекты совсем не хотят, чтобы их изменили. И потом они настолько запущены, так безнадежны, что их не хочется изменять. Понимаете, они не стоят этого. Пусть уж себе догнивают — они ведь не играют никакой роли. На благо кого же мы должны по-вашему,

работать.

— Ах вот вы о чем? — медленно сказал Виктор.

До него вдруг дошло: боже мой, да ведь эти сопляки всерьез полагают, что я пишу только о подонках, что я всех считаю подонками, но они же ничего не поняли, да и откуда им понять, это же дети, странные дети, болезненно — умные дети, но всего лишь дети, с детским жизненным опытом и с детским знанием людей плюс куча прочитанных книг, с детским идеализмом и с детским стремлением разложить все это по полочкам с табличками «плохо» и «хорошо». Совершенно как братья-литераторы.

— Меня обмануло, что вы говорите, как взрослые, — сказал он. — Я даже забыл, что вы не взрослые. Я понимаю, что непедагогично так говорить, но говорить так приходится, иначе мы никогда не выпутаемся. Все дело в том, что вы, по-видимому, не понимаете, как небритый, истеричный, вечно пьяный мужчина может быть замечательным человеком, которого нельзя не любить, перед которым преклоняешься, полагаешь за честь пожать его руку, потому что он прошел через такой ад, что и подумать страшно, а человеком все-таки остался. Всех героев моих книг вы считаете нечистыми подонками, но это еще полбеды. Вы считаете, будто я отношусь к ним так же, как и вы. Вот это уже беда. Беда в том смысле, что так мы никогда не пойдем друг друга...

Черт его знает, какой реакции он ожидал на свою благодушную отповедь. То ли они начнут смущенно переглядываться, то ли их лица озарятся пониманием, или некий вздох облегчения пронесется по залу в знак того, что недоразумение разъяснилось, и теперь можно все начинать сначала, на новой, более реалистической основе... Во всяком случае, ничего этого не произошло. В задних рядах снова встал мальчик с библейскими глазами и спросил:

— Вы не могли бы сказать, что такое прогресс?

Виктор почувствовал себя оскорбленным. Ну, конечно, подумал он. А

потом они спросят, может ли машина мыслить и есть ли жизнь на Марсе. Все возвращается на круги своя.

— Прогресс, — сказал он, — это движение общества к тому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга.

— А чем же они занимаются? — спросил толстый мальчик справа.

— Выпивают и закусывают квантум сатис, — пробормотал кто-то слева.

— А почему бы и нет? — сказал Виктор. — История человечества знает не так уж много эпох, когда люди могли выпивать и закусывать квантум сатис. Для меня прогресс — это движение к состоянию, когда не топчут и не убивают. А чем они будут заниматься — это, на мой взгляд, не так уж существенно. Если угодно, для меня прежде всего важны условия прогресса, а достаточные условия — дело наживное...

— Разрешите мне, — сказал Бол-Кунац. — Давайте рассмотрим схему. Автоматизация развивается в тех же темпах, что и сейчас. Только через несколько десятков лет подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов и из сферы обслуживания за ненадобностью. Будет очень хорошо: все сыты, топтать друг друга не к чему, никто друг другу не мешает... и никто никому не нужен. Есть, конечно, несколько сотен тысяч человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание новых но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо?

— Не знаю, — сказал Виктор. — Вообще-то это не совсем хорошо. Это как-то обидно... Но должен вам сказать, что это все-таки лучше, чем то, что мы видим сейчас. Так что определенный прогресс все-таки на лицо.

— А вы сами хотели бы жить в таком мире?

Виктор подумал.

— Знаете, сказал он, — я его как-то плохо представляю, но если говорить честно, то было бы недурно попробовать.

— А вы можете представить себе человека, которому жить в таком мире

категорично не хочется?

— Конечно, могу. Есть такие люди, и я таких знаю, которые там бы заскучали. Власть там не нужна, командовать нечем, топтать незачем. Правда, они вряд ли откажутся — все-таки это редчайшая возможность превратить в рай свинарник... или казарму. Они бы этот мир с удовольствием разрушили... Так что, пожалуй не могу.

— А ваших героев, которых вы так любите, устроило бы такое будущее?

— Да, конечно. Они обрели бы там заслуженный покой.

Бол-Кунац сел, зато встал прыщавый юнец, и, горестно кивая, сказал:

— Вот в этом все дело, что для вас и ваших героев такое будущее вполне приемлемо, а для нас — это могильник. Тупик. Вот потому-то мы и говорим, что не хочется тратить силы, чтобы работать на благо ваших жаждущих покоя и по уши перепачканных типов. Вдохнуть в них энергию для настоящей жизни уже невозможно. И как вы там хотите, господин Банев, но вы показали нам в своих книгах — в интересных книгах, я полностью — за — показали нам не объект приложения сил, а показали нам, что объектов для приложения сил в человечестве нет, по крайней мере — в вашем поколении. Вы сожрали себя, простите пожалуйста, вы себя растратили на междоусобную драку, на вранье и на борьбу с враньем, которую вы ведете, придумывая новое вранье... Как это у нас поется: «Правда и ложь, вы не так уж несхожи, вчерашняя правда становится ложью, вчерашняя ложь превращается завтра в чистейшую правду, в привычную правду...» Вот так вы и мотаетесь от вранья к вранью. Вы никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы своими руками создали мир, который стал для вас надгробным памятником. Вы гнили в окопах, вы взрывались под танками, а кому от этого стало лучше? Вы ругали правительство и порядки, как будто вы не знаете, что лучшего правительства и лучших порядков ваше поколение... да попросту недостойно. Вас били по физиономии, простите пожалуйста, а вы упорно долбили, что человек по природе добр... или того

хуже, что человек-это звучит гордо. И кого вы только не называли человеком!...

Прыщавый оратор махнул рукой и сел. Воцарилось молчание. Затем он снова встал и сообщил:

— Когда я говорил «вы», я не имел в виду персонально вас, господин Банев.

— Благодарю вас, — сердито сказал Виктор.

Он ощущал раздражение: этот прыщавый сопляк не имел права говорить так безапелляционно, это наглость и дерзость... дать по затылку и вывести за ухо из комнаты. Он ощущал неловкость — многое из сказанного было правдой, и сам он думал так же, а теперь попал в положение человека, вынужденного защищать то, что он ненавидит. Он ощущал растерянность — непонятно было, как вести себя дальше, как продолжать разговор и стоит ли вообще продолжать... Он оглядел зал и увидел, что его ответа ждут, что Ирма ждет его ответа, что все эти розовощекие и конопатые чудовища думают одинаково, и прыщавый наглец высказал общее мнение и высказал его искренне, с глубоким убеждением, а не потому что прочел вчера запрещенную брошюру, что они действительно не испытывают ни малейшего чувства благодарности или хотя бы элементарного уважения к нему, Баневу, за то, что он пошел добровольцем в гусары и ходил на «рейнметаллы» в конном строю, и едва не подох от дизентерии в окружении, и резал часовых самодельными ножами, а потом, уже на гражданке дал по морде одному спецуполномоченному, предложившему ему написать донос, и остался без работы с дырой в легком и спекулировал фруктами, хотя ему и предлагали очень выгодные должности... А почему, собственно, они должны уважать меня за все это? Что я ходил на танки с саблей наголо? Так ведь надо быть идиотом, чтобы иметь правительство, которое довело страну до такого положения... Тут он содрогнулся, представив себе, какую страшную неблагодарную работу должны были проделать эти юнцы, чтобы совершенно

самостоятельно прийти к выводам, к которым взрослые приходят, содрав с себя всю шкуру, обратив душу в развалины, исковеркав свою жизнь и несколько соседних жизней... да и то не все, только некоторые, а большинство и до сих пор считает, что все было правильно и очень здорово, и, если понадобится — готовы начать все сначала... Неужели все-таки настали новые времена? Он глядел в зал почти со страхом. Кажется, будущему удалось все-таки запустить щупальца в самое сердце настоящего, и это будущее было холодным, безжалостным, ему было наплевать на все заслуги прошлого — истинные или мнимые.

— Ребята, — сказал Виктор. — Вы, наверное, этого не замечаете, но вы жестоки. Вы жестоки из самых лучших побуждений, но жестокость — это всегда жестокость. И ничего она не может принести кроме нового горя, новых слез и новых подлостей. Вот что вы имейте в виду. И не воображайте, что вы говорите что-то особенно новое. Разрушить старый мир, на его костях построить новый — это очень старая идея. Ни разу пока она не привела к желаемым результатам. о самое, что в старом мире вызывает особенно желание беспощадно разрушать, особенно легко приспосабливается к процессу разрушения, к жестокости, и беспощадности, становится необходимым в этом процессе и непременно сохраняется, становится хозяином в новом мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей. Ворон ворону глаз не выклюет, жестокостью жестокость не уничтожить. Ирония и жалость, ребята! Ирония и жалость!

Вдруг весь зал поднялся. Это было совершенно неожиданно, и у Виктора мелькнула сумасшедшая мысль, что ему удалось, наконец, сказать нечто такое, что поразило воображение слушателей. Но он уже видел, что от дверей идет мокрец, легкий, почти нематериальный, словно тень, и дети смотрят на него, и не просто смотрят, а тянутся к нему, а он сдержанно поклонился Виктору, пробормотал извинения и сел рядом с Ирмой, и все дети тоже сели, а Виктор смотре на Ирму и видел, что она счастлива, что она старается не

показать этого, но удовольствие и радость так и брызжут из нее. И прежде чем он успел опомниться заговорил Бол-Кунац.

— Боюсь, вы не так нас поняли, господин Банев, — сказал он. — Мы совсем не жестоки, а если и жестоки с вашей точки зрения, то только теоретически. Ведь мы вовсе не собираемся разрушать ваш старый мир. Мы собираемся построить новый. Вот вы жестоки: вы не представляете себе строительства нового без разрушения старого. А мы представляем себе это очень хорошо. Мы даже поможем вашему поколению создать этот ваш рай, выпивайте и закусывайте, на здоровье. Строить, господин Банев, только строить.

Виктор, наконец, оторвал взгляд от Ирмы и собрался с мыслями.

— Да, — сказал он. — Конечно. Валяйте, стройте. Я целиком с вами. Вы меня ошеломили сегодня, но я все равно с вами. А может быть, именно поэтому с вами. Если понадобится, я даже откажусь от выпивки и закуски... Не забывайте только, что старые миры приходилось разрушать именно потому, что они мешали... мешали строить новое, не любили новое, давили его...

— Нынешний старый мир, — загадочно сказал Бол-Кунац, — нам мешать не станет. Он будет даже помогать. Прежняя история прекратила течение свое, не надо на нее ссылаться.

— Что ж, тем лучше, — сказал Виктор устало. — Очень рад, что у вас так удачно все складывается...

Славные мальчики и девочки, подумал он. Станные, но славные. Жалко их, вот что... подрастут, полезут друг на друга размножаться, и начнется работа за хлеб насущный... Нет, подумал он с отчаянием. Может быть, и обойдется... Он сгреб со стола записки. Их накопилось довольно много: «Что такое факт?», «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?», «Почему вы так много пьете?», «Ваше мнение о Шпенглере?»...



— Тут у меня несколько вопросов, — сказал он. — Не знаю, стоит ли теперь...

Прыщавый нигилист поднялся и сказал:

— Видите ли, господин Банев, я не знаю, что там за вопросы, дело-то в том, что это, в общем, не важно. Мы просто хотели познакомиться с современным известным писателем. Каждый известный писатель выражает идеологию общества или части общества, а нам нужно знать идеологию современного общества. Теперь мы знаем больше, чем до встречи с вами. Спасибо.

В зале зашевелились, загомонили: «Спасибо... Спасибо, господин Банев...», стали подниматься, выбираться со своих мест, а Виктор стоял, стиснув в кулаке записки, и чувствовал себя болваном и знал, что красен, что вид имеет растерянный и жалкий, но он взял себя в руки, сунул записки в карман и спустился со сцены.

Самым трудным было то, что он так и не понял, как следует относиться к этим деткам. Они были ирреальны, они были невозможны, их высказывания, их отношение к тому, что он думал, и к тому, что он говорил, не имело никаких точек соприкосновения с торчащими косичками, взлохмаченными вихрами, с плохо отмытыми шеями, с цыпками на худых руках, писклявым шумом, который стоял вокруг. Словно какая-то сила, забавляясь, совместила в пространстве детский сад и диспут в научной лаборатории. Совместила несовместимое. Наверное, именно так чувствовала та подопытная кошка, которой дали кусочек рыбки, почесали за ухом и в тот же момент ударили электрическим током, взорвали под носом пороховой заряд и ослепили прожектором... Да, сочувственно сказал Виктор кошке, состояние которой он представлял себе сейчас очень хорошо. Наша с тобой психика к таким шокам не приспособлена, мы с тобой от таких шоков и помереть можем...

Тут он обнаружил, что завяз. Его обступили и не давали пройти. На мгновение его охватил панический ужас. Он бы не удивился, если бы сейчас

молча и деловито они навалились и принялись вскрывать его на предмет исследования идеологии... Но они не хотели его вскрывать. Они протягивали ему раскрытые книжки, дешевые блокнотики, листки бумаги. Они лепетали: «Автограф, пожалуйста!» Они пищали: «Вот здесь, пожалуйста!» Они сипели ломающимися голосами: «Будьте добры, господин Банев!»

И он достал авторучку и принялся свинчивать колпачок, с интересом постороннего прислушиваясь к своим ощущениям, и он не удивился, ощутив гордость. Это были призраки будущего, и пользоваться у них известностью было все-таки приятно.

## 6

У себя в номере он сразу полез в бар, налил джину и выпил залпом, как лекарство. С волос по лицу и за шиворот стекала вода — оказывается он забыл надеть капюшон. Брюки промокли по колено и облепили ноги — вероятно, он шагал, не разбирая дороги, прямо по лужам. Зверски хотелось курить, он ни разу не закурил за эти два с лишним часа...

Акселерация, твердил он про себя, когда сбрасывал прямо на пол мокрый плащ, переодевался, вытирая голову полотенцем. Это всего лишь акселерация,

— успокаивал он себя, раскуривая сигарету и делая первые жадные затяжки. Вот она, акселерация в действии, с ужасом думал он, вспоминая уверенные детские голоса, твердившие ему невозможные вещи. Боже, спаси взрослых боже, спаси их родителей, просвети и сделай умнее, сейчас самое время... Для твоей же пользы прошу тебя, боже, а то построят они тебе вавилонскую башню, надгробный памятник всем дуракам, которых ты выпустил на эту землю плодиться и размножаться, не продумав как следует последствий акселерации... Простак ты, братец...

Виктор выплюнул на ковер окурков и раскурил новую сигарету. Чего это я разволновался? — подумал он. — Фантазия разыгралась... Ну, дети, ну,

акселерация, ну не по годам развитые. Что я, не по годам развитых детей не видел? Откуда взял я, что они все это сами выдумали? Нагляделись в городе всякой грязи, начитались книжек, все упростили и пришли, естественно, к выводу, что надобно строить новый мир. И совсем не все они такие. Есть у них атаманы, крикуны — Бол-Кунац, прыщавый этот... и еще хорошенькая девчушка. Заводилы. А остальные — дети как дети, сидели, слушали и скучали... Он знал, что это неправда. Ну, положим, не скучали, слушали с интересом, — все-таки провинция, известный писатель... Черта с два в их возрасте я стал бы читать мои книги. Черта с два в их возрасте я пошел бы куда-нибудь, кроме кино с пальбой или проезжего цирка любоваться на ляжки канатоходицы. Глубоко начхать мне было бы на старый мир, и на новый мир, я об этом представления не имел — футбол до полного изнеможения, или вывинтить где-нибудь лампочку и ахнуть об стену, или подстеречь какого-нибудь Гогочку и начистить ему рыло... Виктор откинулся в кресле и вытянул ноги. Мы все вспоминаем события счастливого детства с умилением и уверены, что со времен Тома Сойера так было, есть и будет. Должно быть. А если не так, значит ребенок ненормальный, вызывает со стороны легкую жалость, а при непосредственном столкновении — педагогическое негодование. А ребенок кротко смотрит на тебя и думает: ты, конечно, взрослый, здоровенный, можешь меня выпороть, однако, как ты был с самого детства дураком, так и остался, и помрешь дураком, но тебе этого мало, ты еще и меня дураком хочешь сделать...

Виктор налил себе еще джину и начал вспоминать, как все было, и ему пришлось сделать последний глоток, чтобы не сгореть от сраму. Как он приперся к этим ребятишкам, самовлюбленный и самоуверенный, сверху-вниз смотрящий, надутый остолоп, как он сразу начал с достижений современной науки, и как его осадили, но он не успокоился и продолжал демонстрировать свою острую интеллектуальную недостаточность, как его честно пытались направить на путь истинный, и ведь предупреждали, но он

все нес банальщину и тривиальщину, все воображал, что кривая вывезет — что чего там, и так сойдет — а когда ему, наконец, потеряв терпение, надавали по морде, он малодушно ударился в слезы и стал жаловаться, что с ним плохо обращаются... и как он постыдно возликовал, когда они из жалости стали брать у него автографы... Виктор зарычал, поняв, что о сегодняшнем он, несмотря на свою натужную честность, никогда и никому не осмелится рассказать и что через каких-нибудь полчаса из соображения сохранения душевного равновесия он хитро повернет все так, будто учиненное сегодня над ним плохое действие было величайшим триумфом в его жизни или во всяком случае довольно обычной и не слишком интересной встречей с периферийными вундеркиндами, которые — что с них взять? — дети, а потому неважно разбираются в литературе и в жизни... Меня бы в департамент просвещения, — подумал он с ненавистью. — Там такие всегда были нужны... Одно утешение, подумал он, этих ребятишек пока еще очень мало, и если акселерация пойдет даже нынешними темпами, то к тому времени, когда их будет много, я уже, даст бог, благополучно помру. Как это славно — вовремя помереть!..

В дверь постучали. Виктор крикнул «Да!», и вошел Павор в стеганом бухарском халате, растрепанный, с распухшим носом.

— Наконец-то, — сказал он насморочным голосом, сел напротив, извлек из-за пазухи большой мокрый платок и принялся сморкаться и чихать. Жалкое зрелище — ничего и не осталось от прежнего Павора.

— Что «наконец-то»? — спросил Виктор. — Джину хотите?

— Ох, не знаю... — отозвался Павор, хихикая и всхрапывая. — Меня этот город доконает... Р-р-рум-чх-х-чих! Ох...

— Будьте здоровы, — сказал Виктор. Павор уставился на него слезящимися глазами.

— Где вы пропадаете? — спросил он капризно. — Я три раза к вам толкался, хотел взять что-нибудь почитать. Погибаю ведь, одно занятие здесь

— читать и сморкаться... В гостинице ни души, к швейцару обратился, так он мне, дурень старый, телефонную книгу предложил и старые проспекты... «Посетите наш солнечный город». У вас есть что-нибудь почитать?

— Вряд ли, — сказал Виктор.

— Какого черта, вы же писатель! Ну, я понимаю, других вы никогда не читаете, но себя то уж наверняка много перелистываете... Вокруг только и говорят: Банев, Банев... Как там у вас называется? «Смерть после полудня»? «Полночь после смерти»? Не помню...

— «Беда приходит в полночь», — сказал Виктор.

— Вот-вот. Дайте почитать.

— Не дам. Нету, — решительно сказал Виктор. — А если бы и была, все равно не дал бы. Вы бы мне ее всю засморкали. Да и не поняли бы там ничего.

— Почему это — не понял бы? — осведомился Павор с возмущением. — Там у вас, говорят, из жизни гомосексуалистов, чего же тут не понять?

— Сами вы... — сказал Виктор. — Давайте лучше джину выпьем. Вам с водой?

Павор чихнул, заворчал, в отчаянии оглядел комнату, закинул голову и снова чихнул.

— Башка болит, — пожаловался он. — Вот здесь... А где вы были? Говорят, встречались с читателями. С местными. С местными гомосексуалистами?

— Хуже, — сказал Виктор. — Я встречался с местными вундеркиндами. Вы знаете, что такое акселерация?

— Акселерация? Это что-то связанное с преждевременным созреванием? Слыхал. Об этом одно время шумели, но потом в нашем департаменте создали комиссию, и она доказала, что это есть результат личной заботы господина Президента о подрастающем поколении львов и мечтателей, так что все стало на свои места. Но я-то знаю, о чем вы говорите, я этих местных

вундеркиндов видел. Упаси бог от таких львов, ибо место им в кунсткамере.

— А может быть, это нам с вами место в кунсткамере? — возразил Виктор.

— Может быть, — согласился Павор. — Только акселерация здесь не при чем. Акселерация — дело биологическое и физиологическое. Возрастание веса новорожденных, потом они вымахивают метра на два, как жирафы, и в двенадцать лет уже готовы размножаться. А здесь — система воспитания, детишки самые обыкновенные, а вот учителя у них...

— Что — учителя?

Павор чихнул.

— А вот учителя — необыкновенные, — сказал он гнусаво.

Виктор вспомнил директора гимназии.

— Что же в здешних учителях необыкновенного? — спросил он. Что они ширинку забывают расстегнуть?

— Какую ширинку? — спросил Павор, озадаченно воззрившись на Виктора.

— У них и ширинок-то никаких нет.

— А еще что? — спросил Виктор.

— В каком смысле?

— Что у них еще необыкновенного?

Павор долго сморкался, а Виктор посасывал джин и смотрел на него с жалостью.

— Ни черта, я вижу, вы не знаете, — сказал Павор, разглядывая засморканный платок. — Как справедливо утверждает господин Президент, главное свойство наших писателей — это хроническое незнание жизни и оторванность от интересов народа, нации... Вот вы здесь уже больше недели. Были вы где-нибудь, кроме кабака и санатория? Говорили вы с кем-нибудь, кроме этой пьяной скотины Квадриги? Черт знает, за что вам деньги платят...

— Ну, ладно, хватит, — сказал Виктор. — Хватит с меня и газет. Тоже

мне — критик в соплях, учитель без ширинки...

— А-а, не любите? — сказал Павор с удовлетворением. — Так и быть, не буду... Расскажите, как вы встречались с вундеркиндами.

— Да, ну что там рассказывать, — сказал Виктор. — Вундеркинды как вундеркинды...

— А все-таки?

— Ну, я пришел. Задали мне несколько вопросов. Интересные вопросы, вполне взрослые... — Виктор помолчал. — В общем, если говорить честно, мне там здорово высыпали...

— А какие вопросы? — спросил Павор. Он смотрел на Виктора с искренним интересом, и, кажется, с сочувствием.

— Дело не в вопросах, — вздохнул Виктор. — Если говорить откровенно, меня больше всего поразило, что они как взрослые, да еще не просто как взрослые, а как взрослые высокого класса... Адское какое-то, болезненное несоответствие... — Павор сочувственно кивал. — Словом, плохо мне там было, — сказал Виктор. — Неохота вспоминать.

— Понятно, — сказал Павор. — Не вы первый, не вы последний. Должен вам сказать, что родители двенадцатилетнего ребенка — это всегда существа довольно жалкие, обремененные кучей забот. Но здешние родители — это что-то особенное. Они мне напомнили тылы оккупационной армии в районе активных партизанских действий... Ну, а о чем вас все-таки спрашивали?

— Да спрашивали, что такое прогресс, — сказал Виктор горестно.

— Так. И что же такое по-ихнему прогресс?

— А по-ихнему прогресс — это очень просто. Загнать нас всех в резервации, чтобы не путались под ногами, а самим на свободе изучать Зурзмансора и Шпенглера. Такое у меня, во всяком случае, впечатление.

— Что же, очень даже может быть, — сказал Павор. — Каков поп, таков и приход. Вот вы говорите: акселерация, Зурзмансор... А вы знаете, что говорит по этому поводу нация?

— Кто-кто?

— Нация!.. Она говорит, что все беды от мокрецов. Дети свихнулись — от мокрецов...

— Это потому, что в городе нет евреев, — заметил Виктор. Потом он вспомнил мокреца, который пришел в зал, и как дети встали, и какое лицо было у Ирмы. — Вы это серьезно? — спросил он.

— Это не я, — сказал Павор. — Это голос нации. Вокс попули. Киски из города сбежали, а детишки обожают мокрецов, шлятся к ним в лепрозорий, днюют и ночуют там, отбились от рук, никого не слушаются. Воруют у родителей деньги и покупают книги... Говорят, сначала родители очень радовались, что дети не рвут штанов, лазая по заборам, а тихо сидят дома и почитывают книжки. Тем более, что погода плохая. Но теперь уже все видят, к чему это привело и то это затеял. Теперь уже никто больше не радуется. Однако мокрецов по старинке боятся и только рычат им вслед...

Голос нации, подумал Виктор. Голос Лолы и господина бургомистра. Слыхали мы этот голос... Кошки, дожди, телевизоры. Кровь христианских младенцев...

— Я не понимаю, — сказал он. — Вы это серьезно или от скуки?

— Это не я! — сказал Павор проникновенно. — Так говорят в городе.

— Как говорят в городе, мне ясно, — сказал Виктор. — А вы-то сами что об этом думаете?

Павор пожал плечами.

— Течение жизни, — туманно сказал он. Трепотня пополам с истиной. — Он посмотрел на Виктора поверх платка. — Не считайте меня идиотом, — сказал он, — вспомните лучше детей, где вы еще видели таких детей? Или, по крайней мере, столько таких детей?

Да, подумал Виктор, таких детей... Кошки кошкам, но этот мокрец в зале — это вам не кошка пополам с дождем... Есть такое выражение: лицо, освещенное изнутри. Именно такое лицо было у Ирмы, а когда она



разговаривает со мной, лицо ее освещено только снаружи. А с матерью она вообще не разговаривает — цедит сквозь зубы что-то брезгливо — снисходительное... Но если это так, если это правда, а не грязная болтовня, то выглядит это крайне нечист плотно. Что им нужно от детей? Они же больные люди, обреченные... И вообще, что за свинство — настраивать детей против родителей, даже против таких родителей, как мы с Лолой. Хватит с нас господина Президента: нация выше родительских уз, Легионы Свободы — ваш отец и ваша мать, и мальчик идет в ближайший штаб и сообщает, что отец назвал господина Президента странным человеком, а мать назвала поход Легиона разорительным предприятием. А теперь еще является черный мокрый дядя и уже безо всяких объясняет, что отец твой — пьяная безмозглая скотина, а мать — дура и шлюха. Положим, что это верно, но все равно свинство, все это должно делаться не так, и не их это собачье дело, не они за это отвечают, и никто не просит заниматься таким просветительством... Патология какая-то. Если только это просветительство. А если похуже? Дитя начинает розовыми губками лепетать о прогрессе, начинает строить страшные жестокие вещи, не ведая, что лепечет, но уже от молодых ногтей приучаясь к интеллектуальной жестокости, к самой страшной жестокости, какую можно придумать, а они, намотав черные тряпки на шелушащиеся физиономии, стоят за стеной и дергают ниточки... и, значит, никакого нового поколения нет, а есть вся та же старая и грязная игра в марионетки, и я был вдвойне ослом, когда обмирал сегодня на сцене... До чего же это мерзкая затея — наша цивилизация...

— ...имеющий глаза да видит, — говорил Павор. — Нас не пускают в лепрозорий. Колочая проволока, солдаты, ладно. Но кое-что можно видеть и здесь, в городе. Я видел, как мокрецы разговаривают с мальчишками и как ведут себя при этом эти мальчишки, какими они становятся ангелочками, а спроси у него, как пройти к фабрике — он тебя обольет презрением с ног до головы...

Нас не пускают в лепрозорий, — думал Виктор. — Колючая проволока — а мокрецы гуляют по городу свободно. Но не Голем же это выдумал... Вот сволочь, подумал он, отец нации. Вот мерзавец. Значит, и здесь его работа. Лучший друг детей... Очень может быть, очень на него похоже. А вы знаете, господин Президент, на вашем месте я бы попытался разнообразить свои приемы. Слишком легко стало отличить ваш хвост от всех других хвостов. Колючая проволока, солдаты, пропуска — значит, господин Президент; значит, обязательно какая-нибудь мерзость...

— На кой черт там колючая проволока? — спросил Виктор.

— А я откуда знаю? — сказал Павор. — Никогда раньше там не было колючей проволоки.

— Значит, вы там бывали?

— Почему? Не был. Но не первый же я здесь санитарный инспектор... да дело и не в колючей проволоке, мало ли на свете колючей проволоки. Детишек туда пускают беспрепятственно, мокрецов оттуда выпускают беспрепятственно, а нас с вами туда не пустят — вот это удивительно.

Нет, это все-таки не Президент, — думал Виктор. — Президент и чтение Зурзмансора, да еще и Банева — это как-то не совмещается. И эта разрушительная идеология... Если бы я такое написал, меня бы распяли. Непонятно, непонятно... и нечисто. Спрошу-ка я у Ирмы, подумал он. Просто спрошу и посмотрю, что она будет делать... Между прочим, и Диана должна кое-что знать...

— Вы не слушаете? — спросил Павор.

— Виноват, задумался.

— Я говорю, что не удивился бы, если бы город принял бы меры. При чем, как и полагается городу, жестокие.

— Я тоже не удивился бы, — пробормотал Виктор. — Я не удивлюсь, если даже мне самому захочется принять кое-какие меры.

Павор поднялся и подошел к окну.

— Ну и погодка, — сказал он с тоской. — Уехать бы отсюда поскорее. Дадите вы мне книгу или нет?

— У меня нет книг, — сказал Виктор. — Все, что я с собой привез, все в санатории... Слушайте, а зачем мокрецам наши дети?

Павор пожал плечами.

— Это же больные люди, — ответил он. — Откуда нам знать, мы то с вами здоровые.

В дверь постучали, и вошел Голем, грузный и мокрый.

— Спросим Голема, — сказал Павор. — Голем, зачем мокрецам наши дети?

— Ваши дети? — спросил Голем, внимательно разглядывая этикетку на бутылке с джином, — у вас есть дети, Павор?

— Павор утверждает, — сказал Виктор, — будто ваши мокрецы настраивают городских детей против родителей. Что вы об этом знаете, Голем?

— Гм, — сказал Голем. — Где у вас чистые стаканы? Ага... Мокрецы настраивают детей? Ну что ж... Не они первые, не они последние. Он прямо в плаще повалился на кушетку и понюхал джин в стакане. — И почему бы в наше время не настраивать детей против родителей, если белых настраивают против черных, а желтых настраивают против белых, а глупых настраивают против умных... Что вас, собственно, удивляет?

— Павор утверждает, — повторил Виктор, — что ваши мокрецы шляются по городу и учат детей всяким странным вещам. Я тоже заметил кое-что подобное, хотя пока ничего не утверждаю. Так вот я ничему не удивляюсь а спрашиваю вас: правда это или нет?

— Насколько я знаю, — сказал Голем, — мокрецы спокон веков имели совершенно свободный доступ в город. Не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите про обучение всяким странным вещам, но позвольте мне спросить вас, аборигена этих мест: знакома ли вам игрушка под названием «злой

волчок»?

— Ну, конечно, — сказал Виктор.

— У вас была такая игрушка?

— У меня, конечно, нет... но у ребят, пожалуй, была... — Виктор замялся. — Да, действительно, — сказал он. — Ребята говорили, что этот волчок подарил им мокрец. Вы это имеете в виду?

— Да, именно это. И «погодник», и «деревянную руку»...

— Пардон, — сказал Павор. — Можно ли узнать мне, пришельцу из столицы, о чем говорят аборигены?

— Нельзя, — сказал Голем. — Это не входит в вашу компетенцию.

— Откуда вы знаете, что входит в мою компетенцию? — спросил Павор с обиженным видом.

— Знаю, — сказал Голем. — Догадываюсь, потому что мне так хочется... И перестаньте врать, вы же торговали у Тэдди «погодник» и прекрасно знаете, что это такое.

— Идите вы к черту, — сказал Павор капризно. — Я не про «погодник»...

— Погодите, Павор, — нетерпеливо сказал Виктор. — Голем, вы не ответили на мой вопрос.

— Разве? А мне показалось, что ответил... Видите ли, Виктор, мокрецы

— глубоко и безнадежно больные люди. Это страшная штука — генетическая болезнь. Но при этом они сохраняют доброту и ум, так что не надо их обижать.

— Кто их обижает?

— А разве вы их не обижаете?

— Пока нет. Пока даже наоборот.

— Ну, тогда все в порядке, — сказал Голем и поднялся. — Тогда поехали.

Виктор вытаращил глаза.

— Куда поехали?

— В санаторий. Я еду в санаторий, вы, я вижу, тоже собираетесь в санаторий, а вы, Павор, ложитесь в постель. Хватит распространять грипп.

Виктор посмотрел на часы.

— Не рано ли? — сказал он.

— Как угодно. Только имейте в виду, с сегодняшнего дня автобус отменили. За нерентабельностью.

— А может быть, сначала пообедаем?

— Как угодно, — повторил Голем. — Я никогда не обедаю. И вам не советую.

Виктор пощупал живот.

— Да, — сказал он. Потом он посмотрел на Павора. — Поеду, пожалуй.

— А мне-то что? — сказал Павор. Он был обижен. — Только книжек привезите.

— Обязательно, — пообещал Виктор и стал одеваться.

Когда они влезли в машину, под сырой брезент, в сырой, провонявший табаком, бензином и медикаментами кузов, Голем сказал:

— Вы намеки понимаете?

— Иногда, — ответил Виктор. — Когда знаю, что это намеки. А что?

— Так вот, обратите внимание: намек. Перестаньте трепаться.

— Гм, — пробормотал Виктор. — И как прикажете это понимать?

— Как намек. Перестаньте болтать языком.

— С удовольствием, — сказал Виктор и замолчал, раздумывая.

Они пересекли город, миновали консервную фабрику, проехали пустой городской парк — запущенный, низкий, полусгнивший от сырости, промчались мимо стадиона, где полосатые от грязи «Братья по разуму» упорно лупили разбухшими бутсами по разбухшим мячам, и выкатили на шоссе, ведущее к санаторию. Вокруг, за пеленой дождя, лежала мокрая степь, ровная, как стол, когда-то сухая, выжженная, колючая, а теперь медленно

превращающаяся в топкое болото.

— Ваш намек, — сказал Виктор, — напомнил мне один разговор — мой разговор с его превосходительством господином референтом господина Президента по государственной идеологии... Его превосходительство вызвал меня в свой скромный кабинет — тридцать на двадцать — и осведомился: «Виктуар, вы хотите по-прежнему иметь кусок хлеба с маслом?» Я, естественно, ответил утвердительно. «Тогда перестаньте бренчать!» — гаркнул его превосходительство и отпустил меня мановением руки.

Голем ухмыльнулся.

— А чем вы, собственно, бренчали?

— Его превосходительство намекал на мои упражнения с банджо в молодежных клубах.

Голем покосился на него прищуренными глазами.

— Почему вы, собственно, так уверены, что я не шпик?

— А я в этом не уверен, — возразил Виктор. — Просто мне наплевать. Кроме того, сейчас не говорят «шпик». Шпик — это архаизм. Сейчас все культурные люди говорят «дятел».

— Не ощущаю разницы, — сказал Голем.

— Я практически тоже, — произнес Виктор. — Итак, не будем болтать языком. Ваш пациент выздоровел?

— Мои пациенты никогда не выздоравливают.

— У вас прекрасная репутация. Но я-то спрашиваю про того беднягу, который угодил в капкан. Как его нога?

Голем помолчал, а потом сказал:

— Которого из них вы имеете в виду?

— Не понимаю, — сказал Виктор. — Того, естественно, который попал в капкан.

— Их было несколько, — сказал Голем, глядя на дорогу. — Один попал в капкан, другого вы тащили на спине, третьего я увез на машине, а из-за

четвертого вы давеча затеяли безобразную драку в ресторане.

Виктор ошеломленно молчал. Голем тоже молчал. Он очень ловко вел машину, огибая многочисленные выбоины на старом асфальте.

— Ну, ну, не напрягайтесь так, — сказал он наконец. — Я пошутил. Он был один. И нога его зажила в ту же ночь.

— Это тоже шутка? — осведомился Виктор. — Ха-ха-ха, теперь я понимаю, почему ваши больные никогда не выздоравливают.

— Мои больные, — сказал Голем, — никогда не выздоравливают по двум причинам. Во-первых, я, как и всякий порядочный врач не умею лечить генетические болезни. А во-вторых, они не хотят выздоравливать.

— Забавно, — пробормотал Виктор. — Я уже столько наслушался об этих мокрецах, что теперь, ей богу, готов поверить во все: и в дожди, и в кошек, и в то, что раздробленная кость может зажить за одну ночь.

— В кошек? — спросил Голем.

— Ну да, — сказал Виктор. — Почему в городе не осталось кошек? Мокрецы виноваты. Тэдди от мышей пропадает... Вы бы посоветовали мокрецам вывести из города заодно и мышей.

— А ля гаммельнский крысолов? — сказал Голем.

— Да, — легкомысленно подтвердил Виктор. — Именно а ля. — Потом он вспомнил, чем кончилась история с гаммельнским крысоловом. — Ничего смешного тут нет, — сказал он. — Сегодня я выступал в гимназии, видел ребятишек. И видел, как они встречали какого-то мокреца. Теперь я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день на городскую площадь выйдет мокрец с аккордеоном и уведет ребятишек к черту на рога.

— Вы не удивитесь, — сказал Голем. — А еще что вы сделаете?

— Не знаю... Может быть, отберу у него аккордеон.

— И сами заиграете?

— Да, — вздохнул Виктор. — Это верно. Мне этих детей увлечь нечем, это я понял. Интересно, чем они увлекают? Вы ведь знаете, Голем.

— Виктуар, перестаньте бренчать, — сказал Голем.

— Как угодно, — сказал Виктор. — Вы очень старательно и более или менее ловко уклоняетесь от моих вопросов. Я это заметил. Глупо. Я все равно узнаю, а вы потеряете возможность придать выгодную вам эмоциональную окраску этой информации.

— Сохранение врачебной тайны! — изрек Голем. — И потом, я ничего не знаю. Я могу только догадываться.

Он притормозил. Впереди, за вуалью дождя, появились какие-то фигуры, стоящие на дороге. Три серые фигуры и серый дорожный столб с указателями: «Лепрозорий — 6 км» и «Сан. „Теплые ключи“ — 2,5 км». Фигуры отступили на обочину — взрослый мужчина и двое детей.

— А ну-ка остановитесь, — сказал Виктор, сразу охрипнув.

— Что случилось? — Голем затормозил.

Виктор не ответил. Он смотрел на людей у столба, на рослого мокреца в тренировочном костюме, пропитанном водой, на мальчика, который тоже был без плаща, в промокшем костюмчике и в сандалиях, и на девочку, босую, в платье, облепившем тело. Затем он рывком распахнул дверцу и выскочил на дорогу. Дождь и ветер ударили ему в лицо, он даже захлебнулся, но не заметил этого. Он ощутил приступ нестерпимого бешенства, когда хочется все ломать, когда еще осознаешь, что намерен делать глупости, но это сознание только радует. На негнущихся ногах он подошел вплотную к мокрецу.

— Что здесь происходит? — выдавил он сквозь зубы. А потом девочке, глядевшей на него с удивлением: — Ирма, немедленно иди в машину! — А потом снова мокрецу: — Черт бы вас побрал, что это вы делаете? — И снова Ирме: — Ирма, в машину, кому говорят?

Ирма не двинулась с места. Все трое стояли, как прежде, глаза мокреца над черной повязкой спокойно помаргивали. Потом Ирма сказала с непонятной интонацией: «Это мой отец», и он вдруг сообразил, спинным



мозгом почувствовал, что здесь нельзя орать и замахиваться, нельзя угрожать, хватать за шиворот и тащить... и вообще нельзя беситься. Он сказал очень спокойно:

— Ирма, иди в машину, ты вся промокла. Бол-Кунац, на твоём месте я бы тоже пошел в машину.

Он был уверен, что Ирма послушается, и она послушалась. Не совсем так, как ему хотелось бы. Нет, не то, чтобы она хотя бы взглядом испросила мокреца разрешения уйти, но осталось такое впечатление, будто что-то было, некий обмен мнениями, какое-то краткое совещание, в результате которого вопрос был решен в его пользу. Ирма задрала нос и направилась к машине, а Бол-Кунац сказал вежливо:

— Благодарю вас, господин Банев, но право, я лучше останусь.

— Как хочешь, — сказал Виктор.

Бол-Кунац его мало волновал. Сейчас нужно было что-то сказать этому мокрецу на прощание. Виктор заранее знал, что это будет нечто глупое, но что делать? — уйти просто так он не мог. Из чисто престижных соображений. И он сказал:

— Вас, милостивый государь, — сказал он надменно, — я не приглашаю. Вы здесь, по-видимому, чувствуете себя как рыба в воде.

Затем он повернулся, и, отшвырнув воображаемую перчатку, зашагал прочь. «Произнеся эти слова, — с отвращением думал он, — граф с достоинством удалился...»

Ирма, забравшись с ногами на переднее сидение, отжимала косички. Виктор пролез назад, покряхтывая от стыда, и, когда Голем тронул машину, сказал:

— Произнеся эти слова, граф удалился... Просунь сюда ноги, Ирма, я их разотру.

— Зачем? — с любопытством спросила Ирма.

— Воспаление легких получить хочешь? Давай сюда ноги!

— Пожалуйста, — сказала Ирма и, скособочившись на сидении, просунула ему одну ногу. Предвкушая, что вот сейчас он сделает, наконец, что-то естественное и полезное, Виктор взял обеими руками эту тощую девчоночью ногу, мокрую и трогательную, и вознамерился ее растирать — до красноты, до багровости, добрыми суровыми отцовскими руками, эту грязную, костлявую лодыжку, извечный проводник насморков, гриппов, катаров дыхательных путей и двухсторонних пневмоний — когда обнаружил, что его ладони холоднее ее ноги. По инерции он сделал н сколько оглаживающих движений, затем осторожно опустил ногу. Да ведь я же знал это, подумал он вдруг, я же знал это, еще когда стоял перед ними, знал что здесь есть какой-то подвох, что детям ничего не грозит, никакие катары и воспаления легких, только мне не хотелось этого, а хотелось спасать, вырывать из когтей, исполнять долг, и опять меня обвели вокруг пальца, я не знаю, как они это делают, но меня опять обвели вокруг пальца, и я опять дурак дураком, второй раз в этот день...

— Забери свою ногу, — сказал он Ирме. Ирма забрала ногу и спросила:

— Мы куда — в санаторий едем?

— Да, — ответил Виктор и посмотрел на Голема — не заметил ли тот его позора.

Голем невозмутимо следил за дорогой, грузно расплывшись на водительском сидении, седой, неряшливый, сутулый и всезнающий.

— А зачем? — спросила Ирма.

— Переоденешься в сухое и ляжешь в постель, — сказал Виктор.

— Вот еще! — сказала Ирма. Что это ты придумал?

— Ладно, ладно... — пробормотал Виктор. — Дам тебе книжку, и будешь читать.

Действительно, на кой черт я ее туда везу? — подумал он. Диана... Ну это мы посмотрим. Никаких выпивок, и вообще ничего такого, но как я ее повезу обратно? А, черт, возьму чью попало машину и отвезу... Хорошо бы

сейчас чего-нибудь глотнуть.

— Голем... — начал было он, но спохватился. Дьявол, нельзя, неудобно.

— Да? — сказал Голем не оборачиваясь.

— Ничего, ничего, — вздохнул Виктор, уставясь на горлышко фляги, торчащее из кармана Големова плаща. — Ирма, — сказал он утомленно. — Что вы там делали на этом перекрестке?

— Мы думали туман, — ответила Ирма.

— Что?

— Думали туман, — повторила Ирма.

— Про туман, — поправил Виктор. — Или о тумане.

— Зачем это — про туман? — сказала Ирма.

— Думать — переходный глагол, — объяснил Виктор. — Он требует предлогов. Вы проходили переходные глаголы?

— Это когда как, — сказала Ирма. — Думать туман — это одно, а думать про туман — это совсем другое... и кому это нужно — думать про туман, неизвестно.

Виктор вытащил сигарету и закурил.

— Погоди, — сказал он. — Думать туман — так не говорят, это неграмотно. Есть такие глаголы — переходные: думать, бегать, ходить. Они всегда требуют предлога. Ходить по улице. Думать про... что-нибудь там...

— Думать глупости... — сказал Голем.

— Ну, это исключение, — сказал Виктор, несколько потерявшись.

— Быстро ходить, — сказал Голем.

— Быстро — это не существительное, — запальчиво сказал Виктор. — Не путайте ребенка, Голем.

— Папа, ты не можешь не курить? — осведомилась Ирма.

Кажется, Голем издал какой-то звук, а может быть это мотор чихнул на подъеме. Виктор смял сигарету и растоптал ее каблуком. Они поднимались к

санаторию, а сбоку, из степи, навстречу надвигалась плотная белесая стена.

— Вот тебе туман, — сказал Виктор. — Можешь его думать. А также нюхать, бегать и ходить.

Ирма хотела что-то сказать, но Голем перебил ее.

— Между прочим, — сказал он, — глагол «думать» выступает, как переходный также и в сложно-подчиненных предложениях. Например: я думаю, что... и так далее.

— Это совсем другое дело, — возразил Виктор. Ему надоело. Ему очень хотелось курить и выпить. Он с вожделением поглядывал на горлышко фляги. — Тебе не холодно, Ирма? — спросил он с надеждой.

— Нет. А тебе?

— Познабливает, — признался Виктор.

— Надо выпить джину, — заметил Голем.

— Да, неплохо бы... А у вас есть?

— Есть, — сказал Голем. — Но мы уже почти приехали.

Джип вкатил в ворота, и началось то, о чем Виктор как-то не подумал. Первые струи тумана еще только начинали просачиваться через решетку ограды, и видимость была прекрасная. На подъездной дорожке лежало тело в промокшей пижаме, лежало с таким видом, словно пребывало здесь уже много дней и ночей. Голем осторожно объехал его, миновал гипсовую вазу, украшенную незамысловатыми рисунками и соответствующими надписями, и приткнулся к стаду машин, сгрудившихся перед подъездом правого крыла. Ирма распахнула дверцу, и сейчас же испитая морда высунулась из окна ближайшей машины и проблеяла: «Деточка, хочешь, я тебе отдамся?» Виктор, обмирая, полез наружу. Ирма с любопытством озиралась. Виктор крепко взял ее за руку и повел к подъезду. На ступеньках сидели под дождем обнявшись, две девки в белье и кличными голосами пели про жестокого аптекаря — не отпускает героин. Узрев Виктора, они замолчали, но когда он проходил мимо, одна из них попыталась ухватить его за брюки. Виктор

втолкнул Ирму в вестибюль. Здесь было темно, окна занавешены, воняло табачным дымом и какой-то кислятиной, трещал проекционный аппарат, и на белой стене прыгали порнографические изображения. Виктор, стиснув зубы, шагал по чьим-то ногам, волоча за собой спотыкающуюся Ирму. Вслед неслась сердитая нецензурщина. Они выбрались из вестибюля, и Виктор пошел шагать через три ступеньки по ковровой лестнице. Ирма помалкивала, и он не рисковал взглянуть на нее. На лестничной площадке его уже ждал с распростертыми объятиями синий и раздутый член парламента Росшепер Нант. «Виктуар! — просипел он. — Др-руг! — Тут он заметил Ирму и пришел в восторг: Виктуар! И ты тоже!.. На малолетних малолеточек!..» — Виктор зажмурился, крепко наступил ему на ногу и толкнул в грудь — Росшепер повалился спиной, опрокинув урну. Обливаясь потом, Виктор зашагал по коридору. Ирма неслышными прыжками неслась рядом. Он ткнул в дверь Дианы — дверь была заперта, ключа не было. Он бешено застучал, и Диана немедленно откликнулась: «Пошел к чертовой матери! — заорала она яростно. — Импотент вонючий! Гавнюк, дерьмо собачье!» «Диана! — рявкнул Виктор. — Открывай!» Диана замолчала, и дверь распахнулась. Она стояла на пороге с импортным зонтиком наготове. Виктор отпихнул ее, втолкнул Ирму в комнату и захлопнул за собой дверь.

— А, это ты, — сказала Диана. — Я думала, опять Росшепер. — От нее пахло спиртным. — Господи! — сказала она. — Кого ты привел?

— Это моя дочь, — с трудом сказал Виктор. — Ее зовут Ирма. Ирма, это Диана.

Он смотрел на Диану в упор, с отчаянием и надеждой. Слава богу, кажется, она не пьяна. Или сразу протрезвела.

— Ты с ума сошел, — сказала она тихо.

— Она промокла, — проговорил он. — Переодень ее в сухое, уложи в постель, и вообще...

— Я не лягу, — заявила Ирма.

— Ирма, — сказал Виктор. — Изволь слушаться, а то я сейчас кого-нибудь выпорю...

— Кое-кого здесь надо бы выпороть, — сказала Диана безнадежно.

— Диана, — сказал Виктор. — Я тебе помогу.

— Ладно, — сказала Диана. — Иди к себе. Разберемся.

Виктор с огромным облегчением вышел. Он отправился прямо в свою комнату, но и там не было покоя. Ему пришлось предварительно вышвырнуть в коридор разнежившуюся, совершенно незнакомую парочку и испачканное белье. Потом он закурил, запер дверь повалился на голый матрас и стал думать, что он натворил.

## 7

На другой день Виктор проснулся поздно, пора было обедать, голова побаливала, но настроение оказалось неожиданно хорошим.

Вчера вечером, прикончив пачку сигарет, он спустился вниз, открыл дамской шпилькой чью-то машину, вывел Ирму через служебный вход и отвез ее к матери. Вначале они ехали молча. Он корчился от неприятнейших переживаний, а Ирма сидела рядом, чистенькая, опрятная, причесанная по последней моде-никаких косичек-и кажется даже с накрашенными губами. Ему очень хотелось завязать разговор, но начинать надо было с признания своей беспросветной глупости, это казалось ему непедагогично. Кончилось все тем, что Ирма вдруг ни с того, ни сего разрешила ему курить (при условии, если все окна будут открыты) и принялась рассказывать, как ей было интересно, как это похоже на то, что она читала раньше, но не очень верила; какой он молодец, что устроил ей это неожиданное и в высшей степени поучительное приключение, что он вообще довольно хороший, и не разводит скуку и не болтает глупостей, что Диана — «почти наша», всех ненавидит, но жалко вот, что у нее мало знаний, и слишком уж она любит выпить, но это, в конце концов не страшно, ты тоже любишь выпить а

ребятам ты понравился, потому что говорил честно, не притворяясь, что ты какой-то хранитель высшего знания, и правильно, потому, что никакой ты не хранитель, и даже Бол-Кунац сказал, что в городе ты — единственный стоящий человек, если не считать, конечно, доктора Голема, но Голем, собственно, к городу не имеет никакого отношения и потом он не писатель, не выражает идеологии, а как ты считаешь, нужна идеология или лучше без нее, сейчас многие полагают, что будущее за деидеологизацией...

Получился прекрасный разговор, собеседники были полны уважения друг к другу, и, вернувшись в гостиницу (автомобиль он загнал в какой-то захламленный двор), Виктор уже считал, что быть отцом — не такое уж неблагоприятное занятие, особенно если разбираешься в жизни и умеешь использовать даже теневые ее стороны в воспитательных целях. По-этому поводу он выпил с Тэдди, который тоже был отцом и тоже интересовался воспитанием ибо его первенцу было четырнадцать лет — тяжелый переломный возраст, ты еще со своей наплачешься... то есть что его первому внуку было четырнадцать лет, а воспитанием сына он не занимался, потому, что сын свое детство провел в немецком концлагере. Детей бить нельзя, утверждал Тэдди. Их и без тебя будут всю жизнь колотить кому не лень, а если тебе хочется его ударить, дай лучше по морде самому себе, это будет полезней.

После какой-то рюмки, однако, Виктор вспомнил, что Ирма ни словом не обмолвилась о его диком поведении у перекрестка, и пришел к выводу, что девчонка хитра и что вообще прибегать каждый раз к помощи любовницы, когда не знаешь, как выбраться из тяжелого положения, в которое сам же себя и загнал — по меньшей мере нечестно. Эти соображения огорчили его, но тут пришел доктор Р. Квадрига и заказал свою обычную бутылку рома, они выпили эту бутылку, после чего Виктору все опять стало представляться в радужном свете, потому что стало ясно, что Ирма попросту не хотела огорчать его, а это значит, что она уважает отца, и, может быть,

даже любит. Потом пришел еще кто-то и заказал еще что-то. Потом, вероятно, Виктор отправился спать... Правда, сохранилось еще одно воспоминание: кафельный пол, залитый водой — но что это был за пол и что это была за вода, вспомнить было невозможно. И не надо...

Приведя себя в порядок, Виктор спустился вниз, взял у портье свежие газеты и поговорил с ним о проклятой погоде.

— Как я вчера? — спросил он небрежно. — Ничего?

— В общем ничего, — сказал портье вежливо. — Счет вам Тэдди передаст.

— Ага, — сказал Виктор, и, решив ничего не уточнять, пошел в ресторан. Ему показалось, что торшеров в зале поубавилось. Черт возьми, испугался он. Тэдди еще не было. Виктор поклонился молодому человеку в очках и его спутнику, сел за свой столик и развернул газету. В мире все обстояло по прежнему. Одна страна задерживала торговые суда другой страны, и эта другая страна посылала ноты протеста. Страны, которые нравились господину Президенту, вели справедливые войны во имя своих наций и демократий. Страны, которые господину Президенту почему-либо не нравились, вели войны захватнические и даже, собственно, не войны вели, а попросту производили бандитские злодейские нападения. Сам господин Президент произнес двухчасовую речь о необходимости раз и навсегда покончить с коррупцией и благополучно перенес операцию удаления миндалин. Знакомый критик — большая сволочь — восхвалял новую книгу Роц-Тусова, и это было загадочно, потому что книга получилась хорошая...

Подошел официант, новый какой-то, незнакомый, дружелюбно посоветовал взять устриц, принял заказ, помахал салфеткой по столику и удалился. Виктор отложил газеты, закурил и, расположившись поудобнее, стал думать о работе. После хорошей выпивки ему всегда с удовольствием думалось о работе. Хорошо бы написать оптимистическую веселую повесть... О том, как живет на свете человек, любит свое дело, не дурак,



любит своих друзей, и друзья его ценят, и о том, как ему хорошо — славный такой парень, чудаковатый, остряк... Сюжета нет. А раз нет сюжета, значит скучно; и вообще, если писать такую повесть, то надо разобраться, почему же этому хорошему человеку хорошо, и неизбежно придешь к выводу, что ему хорошо только потому, что у него любимая работа, а на все остальное ему наплевать. И тогда какой же он хороший человек, если ему на все наплевать, кроме любимой работы?.. Можно, конечно, написать про хорошего человека, смысл жизни которого состоит в любви к ближнему, и ему потому хорошо, что он любит ближних и любит свое дело, но о таком человеке уже писали пару тысяч лет назад господа Лука, Матфей, Иоанн и еще кто-то — всего четверо. Вообще-то их было гораздо больше, но только эти четверо писали в соответствии, остальные были лишены, кто национального самосознания, кто права переписки... а человек, о котором они писали, был, к сожалению полоумный... А вообще интересно было бы написать, как Христос приходит на землю сегодня, не так, как писал Достоевский, а так как писали эти Лука и компания... Христос приходит в Генеральный штаб и предлагает: любите, мол, ближнего. А там, конечно, сидит какой-нибудь юдофоб...

— Вы разрешите, господин Банев? — пророкотал над ним приятный мужской голос. Это был господин бургомистр собственной персоной. Не тот апоплексически-багровый, хрюкающий от нездорового удовольствия боров на обширном ложе господина Росшепера, а элегантно-округлый, идеально выбритый и безукоризненно одетый представительный мужчина со скромной орденской ленточкой в петлице и со щитком Легиона Свободы на левом плече.

— Прошу, — сказал Виктор без всякой радости.

Господин бургомистр сел, огляделся и сложил руки на столе.

— Я постараюсь не обременять вас долго своим присутствием, господин Банев, — сказал он. — И попытаюсь не портить вам трапезу, однако же вопрос, с которым я намерен к вам обратиться, назрел уже достаточно для

того, чтобы все мы, и большие, и малые, кому дороги честь и благополучие нашего города, были готовы отложить наши дела для его скорейшего и эффективнейшего решения.

— Я вас слушаю, — сказал Виктор.

— Мы встречаемся с вами здесь, господин Банев, в обстановке скорее неофициальной, ибо, и, сознавая вашу занятость, не рискую беспокоить вас в часы вашей работы, особенно принимая во внимание специфику оной. Однако же я обращаюсь к вам сейчас, как лицо официальное — и от своего имени лично, и от муниципалитета в целом...

Официант принес устрицы и бутылку белого вина. Бургомистр поднятием пальца остановил его.

— Друг мой, — сказал он. — Пол-порции китчиганской осетрины и рюмку мятной. Осетрину без соуса... Итак, я продолжаю, — сказал он, снова оборотившись к Виктору. — Боюсь, правда, что наш разговор трудно будет счесть застольной беседой, ибо речь пойдет о вещах и обстоятельствах не только печальных, но, я бы сказал не аппетитных. Я намеревался поговорить с вами о так называемых мокрецах, об этой злокачественной опухоли, которая вот уже не первый год разъедает нашу несчастную округу.

— Да-да, — сказал Виктор. Ему стало интересно.

Бургомистр произнес негромкую, хорошо продуманную и стилистически совершенную речь. Он рассказал о том, как двадцать лет назад, сразу после оккупации, в лошадиной лощине был создан лепрозорий, карантинный лагерь для лиц, страдающих так называемой желтой проказой или очковой болезнью. Собственно говоря, болезнь эта, как хорошо известно господину Баневу, появилась в нашей стране еще в незапамятные времена, причем, как показывают специальные исследования, особенно часто она почему-то поражала жителей именно нашей округи. Однако только благодаря усилиям господина Президента на эту болезнь было обращено внимание самое серьезное, и лишь по его личному указанию несчастные, лишенные

медицинского ухода, разбросанные ранее по всей стране, подвергаемые зачастую несправедливым гонениям со стороны остальных слоев населения, а со стороны оккупантов — даже прямому истреблению, эти несчастные были, наконец, свезены в одно место и получили возможность сносного существования, приличествующего их положению. Все это не вызывает никаких возражений, и упомянутые меры могут только приветствоваться. Однако, как это иногда у нас бывает, самые лучшие и благородные начинания обернулись против нас. Не будем сейчас искать виновных. Не будем заниматься расследованием деятельности господина Голема, деятельности, возможно, самоотверженной, но, однако же, чреватой, как теперь выяснилось, самыми неприятными последствиями. Не будем также заниматься преждевременным критиканством, хотя позиция некоторых, достаточно высоких инстанций, упорно игнорирующих наши протесты, представляется лично нам загадочной. Перейдем к фактам...

Бургомистр выпил рюмку мятной, вкусно закусил осетриной, и голос его сделался еще более бархатистым — совершенно невозможно было представить себе, что он ставит на людей капканы. Он многословно выразил желание не задерживать внимание господина Банева на овладевших городом слухах, каковые слухи, он должен прямо признаться, есть результат недостаточно точного и единодушного исполнения всеми уровнями администрации предначертаний господина Президента: мы имеем в виду чрезвычайно распространенное мнение о роковой роли так называемых мокрецов в резком изменении климата, об их ответственности за увеличение числа выкидышей и процента бесплодных браков, за гомерический исход некоторых домашних животных и за появление особой разновидности домашнего клопа — а именно — клопа крылатого...

— Господин бургомистр, — сказал со вздохом Виктор. — Должен вам признаться, что мне крайне трудно следить за вашими длинными периодами. Давайте говорить просто, как добрые сыновья нации. Давайте не будем

говорить, о чем мы не будем говорить, и будем — о чем будем.

Бургомистр окинул его быстрым взглядом, что-то рассчитал, что-то сопоставил, но, наверное, все шло в ход — и то, что Виктор пьянствовал с Росшепером, и то, что он вообще пьянствовал, шумно, на всю страну, и то, что Ирма — вундеркинд, и то, что есть на свете Диана, и еще, наверное, многое что — так что лоску у господина бургомистра на глазах поубавилось, и он крикнул подать себе коньяку. Виктор тоже крикнул подать себе рюмку коньяку. Бургомистр хохотнул, оглядел опустевший зал, легонечко ударил кулаком по столу и сказал:

— Ладно, что нам вилить, в самом деле. Жить в городе стало невозможно, скажите спасибо вашему Голему, кстати, вы знаете, что Голем — скрытый коммунист?.. Да-да, уверяю вас, есть материалы... он на ниточке висит, ваш Голем... Так вот я и говорю: детей развращают на глазах. Эти заразы просочились в школу и испортили ребятишек начисто... избиратели недовольны, некоторые город покидают, идет брожение, того и гляди начнутся самосуды. Окружная администрация бездействует, вот такая ситуация. — Он осушил рюмку. — Должен вам сказать, так я ненавижу эту мразь — зубами бы рвал, да стошнит. Вы не поверите, господин Банев, дошел до того, что капканы на них ставлю... Ну, развратили детей, ладно. Дети есть дети, их сколько не развращай — им все мало. Но вы войдите в мое положение. Дожди эти все-таки их рук дело, не знаю, как это у них получается, но это так. Построили санаторий, целебные воды, роскошный климат, деньги гребни лопатой. Сюда из столицы ездили и чем все кончилось? Дождь, туманы, клиенты в насморке, дальше — больше, приезжает сюда известный физик... забыл его фамилию, ну, да вы, наверное знаете... прожил две недели — готово: очковая болезнь, в лепрозорий его. Хорошенькая реклама для санатория! Потом еще случай, потом еще, и все — как ножом клиентов отрезало. Ресторан горит, отель горит, санаторий едва дышит — слава богу, нашелся дурак-тренер, привез сюда своих «Братьев по разуму»:

тренирует команду-экстра для игры в дождливых странах... Ну, и господин Росшепер, конечно, помогает в какой-то степени. Вы мне сочувствуете? Пробовал договориться с этим Големом — как об стенку горох, красный есть красный. Писал наверх — никаких результатов. Писал выше — ничего. Еще выше — отвечают, что приняли к сведению и дали ход вниз по инстанции... Ненавижу их, но переломил себя, поехал в лепрозорий сам. Пропустили. Просил, доказывал.. До чего же гадкие типы! Моргают на тебя облезлыми своими глазами, как на воробья какого-нибудь, словно тебя здесь нет. — Он наклонился к Виктору и прошептал: — Бунта боюсь, кровь прольется. Вы мне сочувствуете?

— Да, — сказал Виктор. — А причем здесь я?

Бургомистр откинулся на спинку кресла, достал из алюминиевого футляра початую сигарету — закурил.

— В моем положении, — сказал он, — остается одно: нажимать на все рычаги. Гласность нужна. Муниципалитет составил петицию в департамент здравоохранения. Господин Росшепер подписался, вы, я надеюсь, тоже, но это не бог весть что. Гласность нужна! Хорошая статья нужна, в столичной газете, подписанная известным именем. Вашим именем, господин Банев. А материал животрепещущий как раз для такого трибуна, как вы. Очень прошу. И от себя лично, и от муниципалитета, и от несчастных родителей... Добиться, чтобы лепрозорий убрали отсюда к чертовой бабушке. Куда угодно, но чтобы духу здесь мокрецкого не было, заразы этой. Вот что я вам имел сказать.

— Да-да, понимаю, — сказал Виктор медленно. — Очень хорошо вас понимаю.

Хоть ты и скотина, думал он, хоть ты и боров, но понять тебя можно. Но что же сделалось с мокрецами? Были тихие, согбенные, крались сторонкой, ничего о них такого не говорили, а говорили, будто воняет от них, будто заразные, будто здорово делают игрушки и вообще разные штуки из дерева...

мать Фреда говорила, помнится, что у них дурной глаз, что молоко от них киснет, и что накликают нам они войну, мор и голод... А теперь сидят они за колючей проволокой, и что же они там делают? Ох, много они что-то делают. И погоду они делают, и детей они переманивают (зачем?), и кошек они вывели (тоже зачем?), и клопы у них залетали...

— Вы, наверное, думаете, что мы сидим сложа руки? — сказал бургомистр. — Ни в коем случае. Но что мы можем? Готовлю я процесс против Голема. Господин санитарный инспектор Павор Сумман согласен быть консультантом. Будем упираться на то, что вопрос об инфекционности болезни еще не решен, а Голем, как скрытый коммунист этим пользуется. Это одно. Далее, пытаемся отвечать террором на террор. Городской Легион, наша гордость, ребята подобрались золотые, орлы... но это как-то не то. Указаний сверху не поступает... Полиция в ложном положении оказывается... и вообще... Так что препятствуем, как можем. Задерживаем грузы, которые идут к ним... частные, конечно, не продовольствие там, и не постельное белье, а вот книги всякие, они их много выписывают. Вот сегодня задержали грузовик, и как-то легче на душе. Но это все мелочи, от тоски, а надо бы радикальное...

— Так, — сказал Виктор. — Орлы, значит, золотые. Как его там... Фламенда?.. Ну, тот, племянничек...

— Фламин Ювента, — уточнил бургомистр. — Так точно — мой заместитель по Легиону, орел! Вы его уже знаете?

— Знаю немного, — сказал Виктор. — А книги-то зачем задерживаете?

— Ну как зачем... Глупость это, конечно, но все мы люди, все мы человеки — накапливает все-таки. И потом... — Бургомистр стыдливо заулыбался.

— Чепуха, конечно, но ходят слухи, будто без книг они не могут... как нормальные люди без еды и прочего.

Наступило молчание. Виктор без аппетита ковырял бифштекс и

размышлял. Я мало знаю о мокрецах, и то, что я знаю, не вызывает у меня к ним никаких симпатий. Может быть, дело в том, что не очень-то люблю я их с детства. Но уж бургомистра и его банду я знаю хорошо — жир и сало нации, президентские холуи, черносотенцы... Нет, раз вы против мокрецов, значит, в мокрецах что-то есть... С другой стороны, статью написать можно, даже самую разнузданную, се равно никто не рискнет меня напечатать, а бургомистр был бы доволен, и получил бы я с него клок шерсти, и мог бы жить здесь припеваючи... Кто из настоящих писателей может похвастаться, что живет припеваючи? Можно было бы здесь устроиться, получить синекуру, заделаться каким-нибудь инспектором муниципалитета по городским пляжам и писать на здоровьице... про то, как хорошо жить хорошему человеку, который увлечен любимым делом... и выступать н эту тему перед вундеркиндами... Э, все дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнут тебе в морду, а ты и утрись. Сначала со стыдом утерся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с достоинством и даже получать от этого удовольствие...

— Мы, конечно, ни в какой мере вас не торопим, — сказал бургомистр. — Вы человек занятой и так далее. Что-нибудь в пределах недельки, а? Материалы все мы вам представим, можем предоставить этакую схему, планчик, по которому было бы желательно... а вы коснетесь опытной рукой и все заиграет. И подписались бы под статьей три выдающихся сына нашего города — член парламента Росшепер Нант, знаменитый писатель Банев и государственный лауреат доктор Рем Квадрига...

Здорово работает, подумал Виктор. Вот у нас, у левых, такой настойчивости и в заводе нет. Тянули бы бодягу, ходили бы вокруг да около

— не оскорбить бы человека, не оказать бы на него излишнего нажима, чтобы, упаси бог, не заподозрили бы в своекорыстных целях... Выдающиеся сыновья!. И ведь совершенно уверен, подлец, что статью я напишу и подпишу, что деваться мне некуда, что придется опальному Баневу поднять

лапки и в поте лица отрабатывать свое безмятежное пребывание в родном городе... Вот и насчет схемки ввернул... знаем мы, что это за схемка и какая это должна быть схемка, чтобы забрызганного президентскими слюнями Банева и сейчас напечатали. Да-а, господин Банев... коньячок любишь, девочек любишь, миноги маринованные с луком любишь, так люби и саночки возить...

— Я обдумаю ваше предложение, — сказал он, улыбаясь. — Замысел представляется мне достаточно интересным, но осуществление потребует... потребует некоторого напряжения совести. Вы ведь знаете, мы, писатели, народ неподкупный, действуем исключительно по велению совести. — Он безобразно, похабно подмигнул бургомистру.

Бургомистр гоготнул.

— А как же! «Совесть нации, точное зеркало» и прочее. Помню, как же... — Он наклонился к Виктору снова с видом заговорщика. — Прошу вас завтра ко мне, — пророкотал он. — Исключительно свои подберутся, только чур без жен, а?

— Вот здесь, — сказал Виктор, вставая, — я вынужден прямо и решительно отклонить ваше предложение. Меня ждут дела. — Он опять похабно подмигнул. — В санатории.

Они расстались почти приятелями. Писатель Банев был зачислен в состав городской элиты, и чтобы привести в порядок потрясенные такой честью нервы, ему пришлось вылакать фужер коньяку, едва спина господина бургомистра скрылась за дверью. Можно, конечно, уехать отсюда к чертовой матери, думал он. За границу меня не выпустят, да и не хочу я за границу, чего мне там делать — везде одно и то же. Но и у нас в стране найдется десяток мест, где можно у рыться и отсидеться. Он представил себе солнечный край, буковые рощи, пьянящий воздух, молчаливых фермеров, запахи молока и меда... и навоза... и комары... и как воняет отхожее место, и скучища, каждый день скучища... древние телевизоры и местная



интеллигенция: шустрый поп-бабник и сильно пьющий самогон учитель. А в общем, что там говорить, есть куда ехать. Но везде ведь им только и надо. Чтобы я уехал, чтобы скрылся с глаз долой, забился в нору, причем сам, без принуждения, потому что ссылая меня — хлопотно, шум пойдет, разговоры... вот ведь в чем вся беда: они будут очень довольны — уехал, заткнулся, забыл, перестал брэнчать...

Виктор расплатился, поднялся к себе в номер, надел плащ и вышел на улицу. Ему вдруг очень захотелось повидать Ирму, поговорить с ней о прогрессе, разъяснить ей, почему он так много пьет, (а действительно, почему я так много пью?), и может быть, Бол-Кунац окажется там, а уж Лолы наверняка не будет... Улицы были мокрые, сырые, пустые, в палисадниках тихо гибли яблони: от сырости. Виктор впервые обратил внимание на то, что некоторые дома заколочены. Городок все-таки сильно переменялся — покосились заборы, под карнизами выросла белая плесень, вылиняли краски, а на улицах безраздельно царил дождь. Дождь падал просто так, дождь сеялся с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирался на сквозняках в белые туманные столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с гудением хлестал из ржавых водосточных труб, дождь разливался по мостовой и бежал по промытым между булыжниками руслам. Черно-серые туч медленно ползли над самыми крышами. Человек был незванным гостем на улицах, и дождь его не жаловал. Виктор вышел на городскую площадь и увидел людей. Они стояли под навесом на крыльце полицейского управления — двое полицейских в форменных плащах и маленький чумазый парнишка в промасленном комбинезоне. Перед крыльцом — левыми колесами на тротуаре — громоздился автофургон с брезентовым верхом. Один из полицейских был полицмейстер, выпятив могучую челюсть, он глядел в сторону, а парнишка, отчаянно жестикулируя, что-то доказывал ему плаксивым голосом. Другой полицейский тоже молчал с недовольным видом и сосал сигарету. Виктор приближался к ним, и шагов за двадцать до крыльца

ему стало слышно, что говорит парень. Парень кричал:

— А я-то здесь причем? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги? Бумаги у меня в порядке? В порядке. Груз правильный, вот накладная. Да что я, в первый раз здесь езжу, что ли?

Полицмейстер заметил Виктора, и лицо его приняло чрезвычайно неприязненное выражение. Он отвернулся и, словно бы не видя парнишки, сказал:

— Значит, здесь будешь стоять. Смотри, чтобы все было в порядке. В кабину не залезай, а то все растащат. И никого к машине не подпускай. Понял?

— Понял, — сказал полицейский. Он был очень недоволен.

Начальник полиции спустился с крыльца, сел в свой автомобиль и уехал. Чумазый шоферишка со злостью плюнул и воззвал к Виктору:

— Ну, вот хоть вы скажите, виноват я или нет? — Виктор приостановился и парня это воодушевило. — Еду нормально. Везу книги в спецзону. Тыщи раз возил. Теперь, значит, останавливают, приказывают ехать в полицию. За что? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги в порядке? В порядке, вот накладная. Лицензию отобрали, чтобы не сбежал. А куда мне бежать?

— Хватит тебе орать, — сказал полицейский.

Парень живо к нему обернулся.

— Так что я сделал? Скажите, я скорость превышал? Не превышал. С меня же за простой вычтут. И документ вот отобрали...

— Разберутся, — сказал полицейский. — Чего ты, в самом деле, расстраиваешься? Пойдем вон в трактир, твое дело маленькое.

— Э-эх, начальнички-и! — вскрикнул парень, с размаху напяливая на всклоченную голову картуз. Нигде правды нету! Налево едешь — задерживают, направо едешь — опять задерживают, — он спустился с крыльца, но остановился и сказал полицейскому просительно: — Может,

штраф возьмете, или какнибудь?

— Иди-иди, — проговорил полицейский.

— Так мне же премию обещали дать за срочность! Всю ночь гнал...

— Иди, говорю! — сказал полицейский.

Парень снова плюнул, подошел к своему фургону, два раза лягнул по переднему скату, потом вдруг ссутулился и, сунув руки в карманы, почесал через площадь.

Полицейский посмотрел на Виктора, посмотрел на грузовик, посмотрел на небо, сигарета у него погасла, он выплюнул окурок, и, на ходу отгибая капюшон, ушел в управление.

Виктор постоял немного, затем медленно двинулся вокруг грузовика. Грузовик был здоровенный, мощный, раньше на таких возили мотопехоту. Виктор огляделся. В нескольких метрах перед грузовиком, свернув на бок передние колеса, стоял и мокнул под дождем полицейский «харлей», а больше машин поблизости не было. Догнать они меня догонят, подумал Виктор, но хрен они меня остановят. Ему стало весело. А какого черта, подумал он: известный писатель Банев, снова напившись пьян, угнал в целях развлечения чужую машину, к счастью обошлось без жертв... Он понимал, что все обстоит не так просто, что не он будет первый, кто доставляет властям благовидный предлог упрятать беспокойного человека в кутузку, но не хотелось раздумывать, хотелось повиноваться импульсу. В крайнем случае, напишу гаду статью, подумал он.

Он быстро открыл дверцу и сел за руль. Ключа не было, пришлось оборвать провода зажигания и соединить их накоротко. Когда мотор уже завелся, Виктор прежде чем захлопнуть дверцу, поглядел назад, на крыльцо управления. Там стоял давешний полицейский все с тем же недовольным выражением на лице и с сигаретой на губе. Заметно было, что он все видит, но ничего не понимает.

Виктор захлопнул дверцу, аккуратно съехал на мостовую, переключил

скорость и рванулся в ближайший проезд. Было очень хорошо гнать по пустым, по заведомо пустым улицам, подымая колесами водопады луж, ворочать тяжелый руль, наваливаясь всем телом — мимо консервного завода, мимо парка, мимо стадиона, где «Братья по разуму», словно мокрые механизмы, все пинали и пинали свои мячи, и дальше, по шоссе, по рытвинам, подпрыгивая на сидении и слыша, как сзади в кузове каждый раз тяжело ухаает плохо закрепленный груз. В зеркальце заднего вида погоня не обнаруживалась, да и вряд ли можно было ее заметить так скоро за таким дождем. Виктор чувствовал себя молодым, очень кому-то нужным и даже пьяным. С крыши кабины ему подмигивали красотки, вырезанные из журналов, в «бардачке» он нашел пачку сигарет, и ему было так хорошо, что он чуть не проскочил перекресток, но вовремя притормозил и свернул по стрелке указателя «Лепрозорий — 6 км». Здесь он чувствовал себя первооткрывателем, потому что ни разу не ездил и не ходил по этой дороге. А дорога оказалась хорошая, не в пример муниципальному шоссе — сначала очень ровный ухоженный асфальт, а потом даже бетонка, и когда он увидел бетонку, он сразу вспомнил про проволоку и солдат, а еще через пять минут он все это увидел.

Проволочная ограда в один ряд тянулась в обе стороны от бетонки и пропадала за дождем. Дорогу перегораживали высокие ворота с караульной будкой, дверь будки была распахнута и на пороге уже стоял солдат в каске, сапогах и плащ-палатке, из под которой высовывался ствол автомата. «Еще никогда я не был в лагерях, — пропел Виктор, — но не говорите: слава богу...» Еще один солдат, без каски, глядел в окошечко. Виктор сбросил газ и затормозил перед самыми воротами. Солдат вышел из будки и подошел к нему

— молоденький такой, веснушчатый солдатик, всего лет восемнадцати.

— Здравствуйте, — сказал он. — Что это вы так припоздали?

— Да, вот, обстоятельства, — сказал Виктор, дивясь такому

либерализму.

Солдатик оглядел его и вдруг подобрался.

— Ваши документы, — сказал он сухо.

— Какие там документы, — сказал Виктор весело. — Я же говорю обстоятельства!

Солдат поджал губы.

— Вы что привезли? — спросил он.

— Книги, — сказал Виктор.

— А пропуск есть?

— Конечно, нет!

— Ага, — сказал солдат и лицо его прояснилось. — То-то я гляжу...

Тогда подождите. Тогда подождать вам придется.

— Имейте в виду, — сказал Виктор, подняв указательный палец. — За мной может быть погоня.

— Ничего, я быстро, — сказал солдат, и придерживая на груди автомат, затопал сапогами к караулке.

Виктор вылез из кабины и, стоя на подножке, поглядел назад. Ничего не было видно за дождем. Тогда он вернулся за руль и закурил. Было довольно темно. Впереди, за проволокой и за воротами тоже крутился туман, угадывались какие-то темные сооружения — то ли дома, то ли бараки, разобрать что-либо определенное было невозможно. Неужели не пригласят посмотреть? — Подумал Виктор. Свинство будет, если не пригласят. Можно, правда, попытаться к Голему, о сейчас где-нибудь здесь... Так и сделаю, подумал он. Зря я, что ли геройствовал...

Солдатик снова вышел из караулки, а за ним старый знакомец, высокий прыщавый мальчик-нигилист в одних трусах, очень сейчас веселый и без всяких следов всемирной тоски. Обогнав солдата, он вспрыгнул на подножку, заглянул в кабину, узнал, ахнул, засмеялся.

— Здравствуйте, господин Банев! Это вы? Вот здорово... Вы ведь книги

привезли? А мы ждем-ждем...

— Ну, что, все в порядке? — спросил подошедший солдатик.

— Да, это наша машина.

— Тогда загоняйте, — сказал солдатик. — А вам, сударь, придется выйти и подождать.

— Я хотел бы повидать доктора Голема, — сказал Виктор.

— Можно вызвать сюда, — предложил солдатик.

— Гм, — сказал Виктор и выразительно поглядел на мальчика. Мальчик виновато развел руками.

— У вас пропуска нет, — объяснил он. — А без пропуска они никого не пускают. Мы бы с радостью...

Ничего не оставалось делать, пришлось вылезать под дождь. Виктор соскочил на дорогу и, подняв капюшон, смотрел, как распахнулись ворота, грузовик дернулся и рывком заполз за ограду. Потом ворота закрылись. Сквозь шум дождя Виктор некоторое время слышал завывание двигателя и шипение тормозов, потом ничего не стало слышно, кроме шороха и плеска. Вот так так, подумал Виктор. А я? Он ощутил разочарование. Только теперь он понял, что совершал свои подвиги небескорыстно, что он надеялся многое увидеть и многое понять... проникнуть, так сказать, в эпицентр. Ну и черт с вами, подумал он. Он поглядел вдоль бетонки. До перекрестка шесть километров, и от перекрестка до города километров двадцать. Можно, конечно, от перекрестка до санатория — два километра. Свиньи неблагодарные... Под дождем... Тут он заметил, что дождь ослабел. И на том спасибо, подумал он.

— Так вызвать вам господина Голема? — спросил солдат.

— Голема? — Виктор оживился. Вообще неплохо бы прогнать старого хрыча под дождем взад и вперед, и потом у него машина. И фляга. — А что же, вызовите.

— Это можно, — сказал солдатик. — Вызовем. Только навряд ли он

выйдет, обязательно скажет, что занят.

— Ничего, ничего, — сказал Виктор. — Вы ему скажите, что Банев спрашивает.

— Банев? Ладно, скажу. Только он все равно не выйдет. Ну, да мне не трудно. Банев значит... — И солдатик ушел, симпатичный такой солдатик, ласковый, сплошные веснушки под каской.

Виктор закурил сигарету, и тут раздался треск мотоциклетного двигателя. Из туманной пелены на сумасшедшей скорости выскочил «харлей» с коляской, подлетел вплотную к воротам и остановился. В седле сидел тот самый полицейский с недовольным лицом и еще один, до глаз закутанный в брезент, сидел в коляске. Сейчас начнется, подумал Виктор, надвигая капюшон поглубже. Но это не помогло. Полицейский с недовольным лицом слез с мотоцикла, подошел к Виктору и рявкнул:

— Где грузовик?

— Какой грузовик? — изумленно спросил Виктор, чтобы выиграть время.

— А вы не прикидывайтесь! — заорал полицейский. — Я вас видел! Вы под суд пойдете! Угон арестованной машины!

— Вы на меня не орите, — возразил Виктор с достоинством. — Что за хамство? Я буду жаловаться.

Второй полицейский, разматывая на ходу брезентовые покровы, подошел и спросил:

— Тот?

— Ясно, тот! — сказал полицейский с недовольным лицом, извлекая из карманов наручники.

— Но-но-но, — сказал Виктор, отступив на шаг. — Это произвол! Как вы смеете?

— Не отягчайте вины сопротивлением, — посоветовал второй полицейский.

— А я ни в чем не виноват, — нагло заявил Виктор и сунул руки в карманы. — Вы меня с кем-то путаете, ребята.

— Вы угнали грузовик, — сказал второй полицейский.

— Какой грузовик? — вскричал Виктор. — При чем тут грузовик? Я пришел сюда в гости к господину Голему, главному врачу. Спросите у охраны. При чем здесь какой-то грузовик?

— А может быть, не тот? — усомнился второй полицейский.

— Ну как не тот? — возразил полицейский с недовольным лицом. Держа наготове наручники, он надвинулся на Виктора. — А ну, давай руки! — приказал он деловито.

В этот момент дверь караулки хлопнула, и высокий пронзительный голос прокричал:

— Прекратить скопление!

Виктор и полицейские вздрогнули. На пороге караулки стоял веснушчатый солдатик, выставив из-под накидки автомат.

— Отойдите от ворот! — пронзительно крикнул он.

— Ты там, потише! — сказал полицейский с недовольным лицом. — Здесь полиция.

— Ска-апление у ворот спецзоны более одного постороннего человека запрещается! После третьего предупреждения стреляю! Отойти от ворот!

— Давайте, давайте, отходите, — озабоченно сказал Виктор, тихонько подталкивая в грудь обоих полицейских. Полицейский с недовольным лицом растерянно поглядел на него, отвел руку и шагнул к солдату.

— Слушай, парень, что ты, сдурел? — сказал он. — Этот тип угнал грузовик...

— Никаких грузовиков! — протяжно и пронзительно проорал симпатичный ласковый солдатик. — Па-аследнее предупреждение! Двоим отойти на сто метров от ворот!

— Слушай, Рох, — сказал второй полицейский. — Давай, отойдем, ну их



к богу. Никуда он от нас не денется.

Полицейский с недовольным лицом, багровый от негодования, открыл было рот, но тут в дверях караулки появился толстый сержант с обкусанным бутербродом в одной руке и со стаканом в другой.

— Рядовой Джура, — сказал он, жуя. — Почему не открываете огонь?

На веснушчатом лице под каской появилось выражение озверелости. Полицейские бросились к мотоциклу, оседлали его, развернулись и мимо Виктора, принявшего позу регулировщика, ринулись прочь. Багровый полицейский прокричал им что-то неслышное за треском мотора. Отъехав шагов на пятьдесят, они остановились.

— Близо, — сказал сержант с неодобрением. — Что же ты смотришь? Близо ведь...

— Дальше! — пронзительно завопил солдатик, взмахивая автоматом. Полицейские отъехали дальше, и их стало не видно.

— Повадились посторонние толпиться у ворот, — сообщил сержант солдатику, глядя на Виктора. — Ну ладно, продолжай нести службу. — Он вернулся в караулку, а веснушчатый солдатик, понемногу остывая, несколько раз прошел взад-вперед перед воротами.

Выждав несколько минут, Виктор осторожно осведомился:

— Прошу прощения, как там насчет доктора Голема?

— Нет его, — буркнул солдатик.

— Какая жалость, — сказал Виктор. — Тогда я пойду, пожалуй... — Он посмотрел в туман и дождь, где скрывались полицейские.

— Как так — пойдете? — встревоженно сказал солдатик.

— А что, нельзя? — спросил Виктор встревоженно.

— Почему нельзя, — сказал солдатик. — Я насчет грузовика. Вы уйдете — а грузовик как же? Грузовик от ворот положено уводить.

— А я здесь причем? — спросил Виктор, тревожась еще больше.

— Как так — причем? Вы его привели, вы его... это. Всегда же так, а как

же?

Черт, подумал Виктор. Куда я его дену?.. С расстояния в сто метров доносился треск мотоциклетного мотора, работающего на холостых оборотах.

— Вы его в самом деле угнали? — спросил солдатик с любопытством.

— Ну да! Полиция задержала шофера, а я, дурак, решил помочь...

— Да-а, — сочувственно протянул солдатик. — Прямо и не знаю, что вам посоветовать.

— А если я сейчас, скажем, пойду себе? — вкрадчиво спросил Виктор.  
— Стрелять не будете?

— Не знаю, — честно признался солдатик. — Вроде бы не положено. Спросить?

— Спросите, — сказал Виктор, соображая, успеет ли он удрать за пределы видимости или нет.

В эту минуту за воротами раздался гудок. Ворота распахнулись и из зоны медленно выкатился злосчастный автофургон. Он остановился рядом с Виктором. Дверца распахнулась, и Виктор увидел, что за рулем сидит уже не мальчик, как он ожидал, а лысый сутулый мокрец и смотрит на него. Виктор не двинулся с места, и тогда мокрец снял с руля руку в черной перчатке и приглашающе похлопал по сиденью рядом с собой. Соизволили снизойти, горько подумал Виктор. Солдатик радостно сказал:

— Ну вот и хорошо, вот все и устроилось, поезжайте с богом.

У Виктора мелькнула мысль, что раз уж мокрец намерен сам доставить грузовик в город или куда там еще, словом, намерен сам иметь дело с полицией, то хорошо было бы тут же распрощаться и дунуть прямо через поле в санаторий, в обход засевшего в засаде «харлея».

— Там впереди полиция, — сказал мокрецу Виктор.

— Ничего, садитесь, — сказал мокрец.

— Дело в том, что я украл этот грузовик из-под ареста.

— Я знаю, — терпеливо сказал мокрец. — Садитесь.

Момент был упущен. Виктор въедливо и сердито попрощался с солдатиком, забрался на сиденье и захлопнул дверцу. Грузовик тронулся, и через минуту они увидели «харлея». «Харлей» стоял поперек шоссе, оба полицейских стояли рядом и делали жесты к обочине. Мокрец затормозил, выключил двигатель и, высунувшись из кабины, сказал:

— Уберите мотоцикл, вы загородили дорогу.

— А ну, к обочине! — скомандовал полицейский с недовольным лицом.  
— И предъявите документы.

— Я еду в полицейское управление, — сказал мокрец. — Может быть, поговорим там?

Полицейский несколько растерялся и проворчал что-то вроде «знаем мы вас». Мокрец спокойно ждал.

— Ладно, сказал, наконец, полицейский. — Только машину поведу я, а этот пусть перейдет в мотоцикл.

— Пожалуйста, — согласился мокрец. Но если можно, в мотоцикле поеду я.

— Еще лучше, — проворчал полицейский с недовольным лицом. У него даже лицо просветлело. — Вылезайте.

Они поменялись местами. Полицейский, зловеще покосившись на Виктора, принялся ерзать и изгибаться на сиденье, поправляя плащ, а Виктор, косясь на полицейского, смотрел, как мокрец еще сильнее сутулясь и косолапя, похожий со спины на огромную тощую обезьяну, идет к мотоциклу и забирается в коляску. Дождь снова хлынул, как из ведра, и полицейский включил дворники. Кorteж тронулся.

Хотел бы я знать, чем все это кончится, с некоторой томительностью подумал Виктор. Смутную надежду, впрочем, подавало намерение мокреца явиться в полицию. Обнаглел мокрец нынешний, обнахалился... Но штраф, во всяком случае, с меня сдерут, этого не миновать. Чтобы полиция, да

потеряла случай содрать с человека штраф. А, плевать я хотел, все равно придется уносить отсюда ноги. Все хорошо. По крайней мере, душу отвел... Он вытащил пачку сигарет и предложил полицейскому. Полицейский негодующе хрюкнул, но взял. Зажигалка не работала, и пришлось ему еще раз хрюкнуть, когда Виктор поднес ему свою. Вообще его можно понять, этого немолодого дядьку, лет сорока пяти, наверное, а все ходит в младших полицейских, очевидно, из бывших коллаборационистов: не тех сажал и не ту задницу лизал, да где ему в задницах разбираться — та или не та... Полицейский курил, и вид у него был уже менее недовольный: дела его оборачивались к лучшему. Эх, бутылку бы мне сюда, подумал Виктор. Дал бы ему хлебнуть, рассказал бы ему пару ирландских анекдотов, поругал бы начальство, у которого сплошь любимчики верховодят, студентов бы обложил, глядишь — и оттаял бы человек...

— Надо же, какой дождь хлещет, — сказал Виктор.

Полицейский хрюкнул довольно нейтрально, без озлобления.

— А ведь какой раньше здесь был климат, — продолжал Виктор. Тут его осенило. — И вот, заметьте, у них там в лепрозории дождя нет, а как подъезжает человек к городу, так сразу ливень.

— Да уж, — сказал полицейский. — Они там в лепрозории легко устроились.

Контакт налаживался. Поговорили о погоде — какая она была и какой, черт побери, стала. Выяснили общих знакомых в городе. Поговорили о столичной жизни, о мини-юбках, о язве гомосексуализма, об импортном бренди и контрабандных наркотиках. Естественно, отметили, что порядка не стало — не то, что до войны, или, скажем, сразу после. Что полицейский — собачья должность, хоть и пишут в газетах: добрые мол и строгие стражи порядка, незаменимая шестерня государственного механизма. А пенсионный возраст увеличивают, пенсии уменьшают, за ранение на посту дают гроши, да еще теперь оружие отобрали — и кто при таких условиях будет лезть из

шкуры... Словом, обстановка создалась такая, что еще бы пару глотков, и полицейский сказал бы: «Ладно, парень, бог с тобой. Я тебя не видел, и ты меня не видел». Однако пары глотков не было, а момент для вручения красненькой не успел созреть, так что когда грузовик подкатил к подъезду полицейского управления, полицейский снова поугрюмел и сухо предложил Виктору следовать за ним и поторапливаться.

Мокрец отказался давать показания дежурному и потребовал, чтобы их немедленно провели к начальнику полиции. Дежурный ему ответил, что пожалуйста, начальник лично вас, вероятно, примет, а что касается вот этого господина, то он обвиняется в угоне машины, к начальнику ему идти незачем, а нужно его допросить и составить на него соответствующий протокол. Нет, твердо и спокойно сказал мокрец, ничего этого не будет, ни на какие вопросы господину Баневу отвечать не придется и никаких протоколов господин Банев подписывать не станет, к чему имеются обстоятельства, касающиеся только господина полицмейстера». Дежурный, которому было безразлично, пожал плечами и отправился доложить. Пока он докладывал, появился шоферишка в замасленном комбинезоне, который ничего не знал, и был сильно поддавши, так что сразу принялся кричать о справедливости, невиновности и прочих страшных вещах. Мокрец осторожно взял у него накладную, которой тот размахивал, примостился на барьере и подписал ее по всей форме. Шофер от изумления замолчал и тут Виктора и мокреца пригласили к начальству.

Полицмейстер встретил их сурово. На мокреца он глядел с неудовольствием, а на Виктора избегал смотреть вовсе.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Разрешите присесть? — осведомился мокрец.

— Да, прошу, — вынужденно сказал полицмейстер после небольшой паузы.

Все сели.

— Господин полицмейстер, — произнес мокрец. — Я уполномочен выразить вам протест против вторичного незаконного задержания грузов, адресованных лепрозорию.

— Да, я слышал об этом, — сказал полицмейстер. — Водитель был пьян, мы вынуждены были его задержать. Думаю, что в ближайшие дни все разъяснится.

— Вы задержали не водителя, а груз, — возразил мокрец. — Однако, это не столь существенно. Благодаря любезности господина Банева груз был доставлен лишь с небольшим опозданием, и вы должны быть признательны присутствующему здесь господину Баневу, ибо существенное опоздание груза по вашей, господин полицмейстер, вине, могло бы послужить для вас источником крупных неприятностей.

— Это забавно, — сказал полицмейстер. — Я не понимаю, и не желаю понимать, о чем идет речь, потому что как должностное лицо я не потерплю угроз. Что же касается господина Банева, то на этот счет существует уголовное законодательство, где такие случаи предусмотрены... — Он явно отказывался смотреть на Виктора.

— Я вижу, вы действительно не понимаете своего положения, — сказал мокрец. — Но я уполномочен довести до вашего сведения, что в случае нового задержания наших грузов вы будете иметь дело с генералом Пфердом.

Наступило молчание. Виктор не знал, кто такой генерал Пферд, но зато полицмейстеру это имя было явно знакомо.

— По-моему, это угроза, — сказал он неуверенно.

— Да, — согласился мокрец. — Причем угроза более чем реальная.

Полицмейстер порывисто поднялся. Виктор с мокрецом тоже.

— Я приму к сведению все, что услышал сегодня, — объявил полицмейстер. — Ваш тон, сударь, оставляет желать лучшего, однако я обещаю лицам, уполномочившим вас, что разберусь и, коль скоро обнаружатся виновные, накажу их. Это в полной мере касается и господина

Банева.

— Господин Банев, — сказал мокрец. — Если у вас будут неприятности с полицией по поводу этого инцидента, немедленно сообщите господину Голему... До свидания, — сказал он полицмейстеру.

— Всего хорошего, — отвечивал тот.

## 8

В восемь вечера Виктор спустился в ресторан и направился было к своему столику, где уже сидела обычная компания, когда его окликнул Тэдди.

— Здорово, Тэдди, — сказал Виктор, привалившись к стойке. — Как дела?

— Тут он вспомнил. — А! Счет... Сколько я вчера?

— Счет — ладно, — проворчал Тэдди. Не так уж много — разбил зеркало и своротил рукомойник. А вот полицмейстера ты помнишь?

— А что такое? — удивился Виктор.

— Я так и знал, что ты не помнишь, — сказал Тэдди. — Глаза у тебя были, брат, что у вареного поросенка. Ничего не соображал... Так вот, ты, — он уставил Виктору в грудь указательный палец, — запер его, беднягу, в сортирной кабинке, припер дверцу метлой и не выпускал. А мы-то не знали, кто там, он только что приехал, мы думали, Квадрига. Ну, думаем, ладно, пусть посидит... А потом ты его оттуда вытащил, стал кричать: ах, бедный, весь испачкался! И совать его головой в рукомойник. Рукомойник своротил, и мы еще тебя, брат, оттащили.

— Серьезно? — сказал Виктор. — Ну и ну. То-то он сегодня на меня весь день волком смотрит.

Тэдди сочувственно покивал.

— Да, черт возьми, неудобно, — проговорил Виктор. — Извиниться надо бы... Как же он мне позволил? Ведь крепкий еще мужчина...

— Я боюсь, не пришлось бы тебе худо, — сказал Тэдди. — Сегодня

утром тут уже ходил легавый, снимал показания... Шестьдесят третья статья тебе обеспечена — оскорбительные действия приотягчающих обстоятельства. А может и того хуже. Террористический акт. Понимаешь, чем пахнет? Я бы на твоём месте... — Тэдди помотал головой.

— Что? — спросил Виктор.

— Говорят, сегодня к тебе бургомистр приходил, — сказал Тэдди.

— Да.

— Ну и что же он?

— Да, чепуха. Хочет, чтобы я статью написал. Против мокрецов.

— Ага! — сказал Тэдди и оживился. — Ну, тогда и в самом деле чепуха. Напиши ты ему эту статью, и все в порядке. Если бургомистр будет доволен, полицмейстер и пикнуть не посмеет, можешь его тогда каждый день в унитаз заталкивать. Он у бургомистра вот где... — Тэдди показал громадный костлявый кулак. — Так что все в порядке. Давай я тебе по этому поводу налью за счёт заведения. Очищенной?

— Можно и очищенной, — сказал Виктор задумчиво.

Визит бургомистра представился ему в совсем новом свете. Вот как они меня, подумал Виктор. Да-а... Либо убирайся, либо делай, что велят, либо мы тебя окрутим. Между прочим, убратся тоже будет нелегко. Террористический акт, разыщут. Экий ты, братец, алкоголик, смотреть противно. И ведь не кого-нибудь, а полицмейстера. Честно говоря, задуманно и выполнено неплохо. Он не помнил ничего, кроме кафельного пола, залитого водой, но очень хорошо представлял себе эту сцену. Да, Виктор Банев, поросёнок мое вареное, оппозиционно-кухонный, и даже не кухонный, прибранный, любимец господина Президента... Да, видно пришла и тебе пора продаваться. Роц-Гусов, человек опытный, по этому поводу говорит: продаваться надо легко и дорого — чем честнее твоё перо, тем дороже оно обходится власти имущим, так что и продаваясь ты наносишь ущерб противнику, и надо стараться, чтобы ущерб этот был максимальным. Виктор



опрокинул рюмку очищенной, не испытав при этом никакого удовольствия.

— Ладно, Тэдди, — сказал он. — Спасибо. Давай счет. Много получилось?

— Твой карман выдержит, — ухмыльнулся Тэдди. Он достал из кассы листок бумаги. — Следует с тебя: за зеркало туалетное — семьдесят семь, за рукомойник фарфоровый большой — шестьдесят четыре, всего, сам понимаешь, сто сорок один. А торшер мы списали на ту драку... Одного не понимаю, — продолжал он, следя, как Виктор отсчитывает деньги. — Чем это ты зеркало раскокал? Здоровенное зеркало, в два пальца толщиной. Головой ты в него бился, что ли?

— Чьей? — хмуро спросил Виктор.

— Ладно, не горюй, — сказал Тэдди, принимая деньги. — Напишешь статеечку, реабилитируешься, гонорарчик отхватишь, вот и все окупится. Налить еще?

— Не надо, потом... Я еще подойду, когда поужинаю, — сказал Виктор и пошел на свое место.

В ресторане все было как обычно — полутьма, запахи, звон посуды на кухне, очкастый молодой человек с портфелем, спутником и бутылкой минеральной воды; согбенный доктор Р. Квадрига, прямой и подтянутый, несмотря на насморк, Павор, расплывшийся в кресле Голем с разрыхленным носом спившегося пророка. Официант.

— Миноги, — сказал Виктор. — Бутылку пива. И чего-нибудь мясного.

— Доигрались, — сказал Павор с упреком. — Говорил я вам — бросьте пьянствовать.

— Когда это вы мне говорили? Не помню.

— А до чего ты доигрался? — осведомился доктор Р. Квадрига. — Убил, наконец, когонибудь?

— А ты тоже ничего не помнишь? — спросил его Виктор.

— Это насчет вчерашнего?

— Да, насчет вчерашнего... Напился как зюзя, — сказал Виктор, обращаясь к Голему, — загнал господина полицмейстера в клозет...

— А-а! — сказал Р. Квадрига. — Это все вранье. — Я так и сказал следователю. Сегодня утром ко мне приходил следователь. Понимаете — изжога зверская, голова трещит, сижу, смотрю в окно, и тут является эта дубина и начинает шить дело...

— Как вы сказали? — спросил Голем. — Шить?

— Ну да, шить, — сказал Р.Квадрига, протыкая воображаемой иглой воображаемую материю. — Только не штаны, а дело... Я ему прямо сказал: все вранье, вчера я весь вечер просидел в ресторане, все было тихо, прилично, как всегда, никаких скандалов, словом, скучища... Обойдется, — ободряюще сказал он Виктору. — Подумаешь. А зачем ты это сделал? Ты его не любишь?

— Давайте об это не будем — предложил Виктор.

— Так о чем же мы будем? — спросил Р. Квадрига обиженно. — Эти двое все время препираются, кто кого не пускает в лепрозорий. В кои веки случилось что-то интересное, и сразу — не будем.

Виктор откусил половину миноги, пожевал, отхлебнул пива и спросил:

— Кто такой генерал Пферд?

— Лошадь, — сказал Р. Квадрига. — Конь. Дер Пферд. Или дас.

— А все-таки, — настаивал Виктор. — Знает кто-нибудь такого генерала?

— Когда я служил в армии, — сказал доктор Р.Квадрига, — нашей дивизией командовал генерал от инфантерии Аршман.

— Ну и что? — спросил Виктор.

— Арш по-немецки — задница, — сообщил молчавший до сих пор Голем. — Доктор шутит.

— А где вы слыхали про генерала Пферда? — спросил Павор.

— В кабинете у полицмейстера, — ответил Виктор.

— Ну и что?

— Ну и все. Так никто не знает? Ну и прекрасно. Я просто так спросил.

— А фельдфебеля звали Баттокс, — заявил Р. Квадрига. — Фельдфебель Баттокс.

— Английский вы тоже знаете? — спросил Голем.

— Да, в этих пределах, — ответил Р. Квадрига.

— Давайте выпьем, — предложил Виктор. — Официант, бутылку коньяка.

— Зачем же бутылку? — спросил Павор.

— Чтобы хватило на всех.

— Опять учините какой-нибудь скандал.

— Да бросьте вы, Павор, — сказал Виктор. — Тоже мне абстинент.

— Я не абстинент, — возразил Павор. — Я люблю выпить и никогда не упускаю случая выпить, как и полагается настоящему мужчине. Но я не понимаю, зачем напиваться. И уж совершенно ни к чему, по-моему, напиваться каждый вечер.

— Опять он здесь, — сказал Р. Квадрига с отчаянием. — И когда успел?

— Мы не будем напиваться, — сказал Виктор, разливая всем коньяк. — Мы просто выпьем. Как сейчас это делает половина нации. Другая половина напивается, ну и бог с ней, а мы просто выпьем.

— В том-то и дело, — сказал Павор. — Когда по стране идет поголовное пьянство, и не только по стране, по всему миру, каждый порядочный человек должен сохранять благоразумие.

— Вы искренно полагаете нас порядочными людьми? — спросил Голем.

— Во всяком случае культурными.

— По-моему, — сказал Виктор, — у культурных людей больше оснований напиваться, чем у некультурных.

— Возможно, — согласился Павор. — Однако культурный человек обязан держать себя в рамках. Культура обязывает... Мы вот сидим здесь

почти каждый вечер, болтаем, пьем, играем в кости. А сказал кто-нибудь из нас за это время что-нибудь, пусть даже не умное, но хотя бы серьезное? Хихиканье, шуточки... одно хихиканье да шуточки...

— А зачем — серьезное? — спросил Голем.

— А затем, что все валится в пропасть, а мы хихикаем и шутим. Пируем во время чумы. По-моему, стыдно, господа.

— Ну, хорошо, Павор, — примирительно сказал Виктор. — Скажите что-нибудь серьезное. Пусть не умное, но серьезное.

— Не желаю серьезного, — объявил доктор Р. Квадрига. — Пиявки. Кочки. Фу!

— Цыц! — сказал ему Виктор. — Дрыхни себе... Правильно, Голем, давайте поговорим хоть раз о чем-нибудь серьезном. Павор, начинайте, расскажите нам про пропасть.

— Опять хихикаете? — сказал Павор с горечью.

— Нет, — сказал Виктор. — Честное слово — нет. Я ироничен — может быть. Но это происходит потому, что всю свою жизнь я слышу болтовню о пропастях. Все утверждают, что человечество катится в пропасть, но доказать ничего не могут. И на поверку всегда оказывается, что весь этот философский пессимизм — следствие семейных неурядиц или нехваткой денежных знаков...

— Нет, — сказал Павор. — Нет... Человечество валится в пропасть, потому, что человечество обанкротилось...

— Нехватка денежных средств, — пробормотал Голем.

Павор не обратил на него внимания. Он обращался исключительно к Виктору, говорил, нагнув голову и глядя исподлобья.

— Человечество обанкротилось биологически — рождаемость падает, распространяется рак, слабоумие, неврозы, люди превратились в наркоманов. Они ежедневно заглатывают сотни тонн алкоголя, никотина, просто наркотиков, они начали с гашиша и кокаина и кончили ЛСД. Мы просто

вырождаемся. Естественную природу мы уничтожили, а искусственная уничтожит нас. Далее... мы обанкротились идеологически — мы перебрали уже все философские системы и все их дискредитировали, мы перепробовали все мыслимые системы морали, но остались такими же аморальными скотами, как троглодиты. Самое страшное в том, что вся серая человеческая масса в наши дни остается той же сволочью, какой была всегда. Она постоянно требует и жаждет богов, вождей, порядка, и каждый раз, когда она получает богов, вождей и порядок, она делается недовольной, потому что на самом деле ни черта ей не надо, ни богов, ни порядка, а надо ей хаоса, анархии, хлеба и зрелищ. Сейчас она скована железной необходимостью еженедельно получать конвертик с зарплатой, но эта необходимость ей претит, и она уходит от нее каждый вечер в алкоголь и наркотики... Да черт с ней, с этой кучей гниющего дерьма, она смердит и воняет десять тысяч лет и ни на что больше не годится, кроме как смердеть и вонять. Страшное другое — разложение захватывает нас с вами, людей с большой буквы, личностей. Мы видим это разложение и воображаем, будто оно нас не касается, но оно все равно отравляет нас безнадежностью, подтачивает нашу волю, засасывает... А тут еще это проклятье — демократическое воспитание: эгалитэ, фратерните, все люди — братья, все из одного теста... Мы постоянно отождествляем себя с чернью и ругаем себя, если случается нам обнаружить, что мы умнее ее, что у нас иные запросы, иные цели в жизни. Пора это понять и сделать выводы — спастись пора.

— Пора выпить, — сказал Виктор. Он уже пожалел, что согласился на серьезный разговор с санитарным инспектором. Было неприятно смотреть на Павора. Павор слишком разгорячился, у него даже глаза закосили. Это выпадало из образа, а говорил он, как все агенты пропастей, лютую банальщину. Так и хотелось ему сказать: бросьте срамиться, Павор, а лучше повернитесь-ка профилем и иронически усмехнитесь.

— Это все, что вы мне можете ответить? — осведомился Павор.

— Я могу вам еще посоветовать. Побольше иронии, Павор. Не горячитесь так. Все равно вы ничего не можете. А если бы и могли, то не знали бы — что.

Павор иронически усмехнулся.

— Я-то знаю, — сказал он.

— Ну-с?

— Есть только одно средство прекратить разложение...

— Знаем, знаем, — легкомысленно сказал Виктор. — Нарядить всех дураков в золотые рубашки и пустить маршировать. Вся Европа у нас под ногами. Было.

— Нет, — сказал Павор. — Это только отсрочка. А решение одно: уничтожить массу.

— У вас сегодня прекрасное настроение, — сказал Виктор.

— Уничтожить девяносто процентов населения, — сказал Павор. — Может быть, даже девяносто пять. Масса выполнила свое назначение — она породила из своих недр цвет человечества, создавший цивилизацию. Теперь она мертва, как гнилой картофельный клубень, давший жизнь новому кусту картофеля. А когда покойник начинает гнить, его пора закапывать.

— Господи, — сказал Виктор. — И все это только потому, что у вас насморк и нет пропуска в лепрозорий? Или, может быть, семейные неурядицы?

— Не притворяйтесь дураком, — сказал Павор. — Почему вы не хотите задуматься над вещами, которые вам отлично известны? Из-за чего извращают самые светлые идеи? Из-за тупости серой массы. Из-за чего войны, хаос, безобразия? Из-за тупости серой массы, которая выдвигает правительства, ее достойные. Из-за чего Золотой Век так же безнадежно далек от нас, как и во времена оногo? Из-за тупости, косности и невежества серой массы. В принципе этот, как его... был прав, подсознательно прав, он чувствовал, что на земле слишком много лишнего. Но он был порождением

серой массы и все испортил. Глупо было затевать уничтожение по расовому признаку. И кроме того, у него не было настоящих средств уничтожения.

— А по какому признаку собираетесь уничтожать вы? — спросил Виктор.

— По признаку незаметности, — ответил Павор. — Если человек сер, незаметен, значит, его надо уничтожить.

— А кто будет определять, заметный это человек или нет?

— Бросьте, это детали. Я вам излагаю принцип, а кто, что и как это детали.

— А чего это ради вы связались с бургомистром? — спросил Виктор, которому Павор надоел.

— То есть?

— На кой черт вам этот судебный процесс? Молчите, Павор! И ведь всегда так с вами, со сверхчеловеками. Собираетесь перепахивать мир, меньше, чем на три миллиарда трупов не согласны, а тем временем — то беспокоитесь о чинах, то от триппера лечитесь, то за малую корысть помогаете сомнительным людям обдeldывать темные делишки.

— Вы все-таки полегче, — сказал Павор. Видно было, что он взбесился.

— Вы же сам пьяница и бездельник...

— Во всяком случае, я не затеваю дутых политических процессов, не берусь переделывать мир.

— Да, — сказал Павор. — Вы даже на это не способны, Банев. Вы всего-навсего богема, то-есть, короче говоря, подонки, дешевый фразер и дерьмо. Вы сами не знаете, чего вы хотите и делаете только то, что хотят от вас. Потакаете желаниям таких же подонков, как вы, и воображаете поэтому, что вы потрясатель основ и свободный художник. А вы просто поганый рифмач, из тех, которые расписывают общественные сортиры.

— Все это правильно, — согласился Виктор. — Жалко только, что вы не сказали этого раньше. Понадобилось вас обидеть, чтобы вы это сказали. Вот

и получается, что вы — гаденькая личность, Павор. Всего лишь один из многих. И если будут уничтожать, то и вас уничтожат. По принципу незаметности: философствующий санитарный инспектор? В печку его!

Интересно, как мы выглядим со стороны, подумал он. Павор отвратителен... Ну и улыбочка! Что это с ним сегодня? А Квадрига спит, что ему ссоры, серая масса и вся эта философия... А Голем развалился, как в театре, рюмочка в пальцах, рука за спинкой кресла, ждет кто кому и чем врежет. Что-то Павор долго молчит... Аргумент подбирает, что ли?

— Ну, хорошо, — сказал, наконец, Павор. — Поговорили и будет.

Улыбочка у него исчезла, глаза снова сделались как у штурмбаннфюрера. Он бросил на стол кредитку, допил коньяк и, не прощаясь, ушел. Виктор почувствовал приятное разочарование.

— Все-таки для писателя вы отвратительно разбираетесь в людях, — сказал Голем.

— Это не мое дело, — сказал Виктор легко. — Пусть в людях разбираются психологи из департамента безопасности. Мое дело улавливать тенденции повышенным чутьем художника... И к чему вы это говорите? Опять «Виктуар, перестаньте бренчать»?

— Я вас предупреждал, не трогайте Павора.

— Какого черта, — сказал Виктор. — Во-первых, я его не трогал. Это он меня трогал. А во-вторых он свинья. Вы знаете, что он помогает бургомистру упечь вас под суд?

— Догадываюсь.

— Вас это не волнует?

— Нет. Руки у них короткие. То-есть, у бургомистра руки короткие, и у суда.

— А у Павора?

— А у Павора — руки длинные, — сказал Голем. — И поэтому перестаньте при нем бренчать. Вы же видите, что я при нем не бренчу.



— Интересно, при ком вы бренчите, — проворчал Виктор.

— При вас я иногда бренчу. У меня к вам слабость. Налейте мне коньяку.

— Прошу, — Виктор налил. — Может, разбудим Квадригу? Что он, в самом деле, не защитил меня от Павора.

— Нет, не надо его будить. Давайте поговорим. Зачем вы впутываетесь в эти дела? Кто вас просил угонять грузовик?

— Мне так захотелось, — сказал Виктор. — Свинство задерживать книги. И потом, меня расстроил бургомистр. Он покусился на мою свободу. Каждый раз, когда покушаются на мою свободу, я начинаю хулиганить... Кстати, Голем, а может генерал Пферд заступиться за меня перед бургомистром?

— Чихал он на вас вместе с бургомистром, — сказал Голем. — У него своих забот хватает.

— А вы ему скажите, пусть заступится. А не то я напишу разгромную статью против вашего лепрозория, как вы кровь христианских младенцев используете для лечения очковой болезни. Вы думаете, я не знаю, зачем мокрецы приваживают детишек? Они, во-первых, сосут из них кровь, а во-вторых — растлевают. Опозорю вас перед всем миром. Кровосос и растлитель под маской врача, — Виктор чокнулся с Големом и выпил. — Между прочим, я говорю серьезно. Бургомистр принуждает меня написать такую статью. Вам, конечно, это тоже известно.

— Нет, — сказал Голем. — Но это не существенно.

— Я вижу, вам все не существенно, — сказал Виктор. — Весь город против вас — не существенно. Вас отдают под суд — не существенно. Санитарный инспектор Павор раздражен вашим поведением — не существенно. Модный писатель Банев тоже раздражен и готовит гневное перо — опять же не существенно. Может быть, генерал Пферд — это псевдоним господина Президента? Кстати, этот всемогущий генерал знает,

что вы — коммунист?

— А почему раздражен писатель Банев? — спокойно спросил Голем. — Только не орите так, Тэдди оборачивается.

— Тэдди — наш человек, — возразил Виктор. — Впрочем, он тоже раздражен — его заели мыши. — Он насупил брови и закурил сигарету. — Погодите, что это вы меня спрашивали... А, да. Я раздражен потому, что вы не пустили меня в лепрозорий. Все-таки я совершил благородный поступок. Пусть даже глупый, но ведь все благородные поступки глупы. И еще раньше я носил мокреца на спине.

— И дрался за него, — добавил Голем.

— Вот именно. И дрался.

— С фашистами, — сказал Голем.

— Именно с фашистами.

— А у вас пропуск есть? — спросил Голем.

— Пропуск... Вот Павора вы тоже не пускаете, и он на глазах превратился в демофоба.

— Да, Павору здесь не везет, — сказал Голем. — Вообще он способный работник, но здесь у него ничего не получается. Я все жду, когда он начнет делать глупости. Кажется, уже начинает.

Доктор Р. Квадрига поднял взлохмаченную голову и сказал:

— Крепко. Вот пойду, и там посмотрим. Дух вон. — Голова его снова со стуком упала на стол.

— А все-таки, Голем, — сказал Виктор, понизив голос. — Это правда, что вы коммунист?

— Мне помнится, компартия у нас запрещена, — заметил Голем.

— Господи, — сказал Виктор. — А какая партия у нас разрешена? Я же не о партии спрашиваю, а о вас...

— Я, как видите, разрешен, — сказал Голем.

— В общем, как хотите, — сказал Виктор. — Мне-то все равно. Но

бургомистр... впрочем, на бургомистра вам наплевать. А вот если дознается генерал Пферд?

— Но мы же ему не скажем, — доверительно шепнул Голем. — Зачем генералу вдаваться в такие мелочи? Знает он, что есть лепрозорий, в лепрозории — какой-то Голем, мокрецы какие-то, ну и ладно.

— Станный генерал, — задумчиво сказал Виктор. — Генерал от лепрозория... Между прочим, с мокрецами у него скоро, наверное, будут неприятности. Я это чувствую повышенным чутьем художника. В нашем городе прямо-таки свет клином сошелся на мокрецах.

— Если бы только в городе, — сказал Голем.

— А в чем дело? Это же просто больные люди, и даже, кажется, не заразные.

— Не хитрите, Виктор. Вы прекрасно знаете, что это не просто больные люди. Они даже заразные не совсем просто.

— То есть?

— То есть Тэдди, например, заразиться от них не может. И бургомистр не может, не говоря уже о полицмейстере. А кто-нибудь другой может.

— Вы, например.

Голем взял бутылку, с удовольствием посмотрел ее на свет и разлил коньяк.

— Я тоже не могу. Уже... Не знаю. Вообще все это — гипотеза. Не обращайтесь внимания.

— Не обращаю, — грустно сказал Виктор. — А чем они еще необыкновенны?

— Чем они необыкновенны? — повторил Голем. — Вы могли сами заметить, Виктор, что все люди делятся на три большие группы. Вернее, две большие, и одну маленькую. Есть люди, которые не могут жить без прошлого, они целиком в прошлом, более или менее отдаленном. Они живут традициями, обычаями, заветами, они черпают в прошлом радость и пример.

Скажем, господин Президент. Чтобы он делал, если бы у нас не было нашего великого прошлого? На что бы он ссылся и откуда бы он взялся вообще. Потом есть люди, которые живут настоящим и не желают знать будущего и прошлого. Вот вы, например. Все представления о прошлом вам испортил господин Президент, в какое бы прошлое вы не заглянули, везде вам видится все тот же господин Президент. Что же до будущего, вы не имеете о нем ни малейшего представления, и, по-моему, боитесь иметь... И, наконец, есть люди, которые живут будущим. В заметных количествах появились недавно. От прошлого они совершенно справедливо не ждут ничего хорошего, а настоящее для них — это только материал для построения будущего, сырье... Да они, собственно, живут-то уже в будущем... на островках будущего, которые возникли вокруг них в настоящем... — Голем, как-то странно улыбаясь, поднял глаза к потолку. — Они умны, — проговорил он с нежностью. — Они чертовски умны — в отличие от большинства людей. Они все как на подбор талантливы, Виктор. У них странные желания и полностью отсутствуют желания обыкновенные.

— Обыкновенные желания — это, например, женщины...

— В каком-то смысле — да.

— Водка, зрелища?

— Безусловно.

— Страшная болезнь, — сказал Виктор. — Не хочу... И все равно непонятно... Ничего не понимаю. Ну, то, что умных людей сажают за колючую проволоку — это я понимаю. Но почему их выпускают, а к ним не пускают...

— А может быть, это не они сидят за колючей проволокой, а вы сидите. Виктор усмехнулся.

— Подождите, — сказал он. — Это еще не все непонятно. Причем здесь, например, Павор? Ну, ладно — меня не пускают, я — человек посторонний. Но должен же кто-то инспектировать состояние постельного белья и отхожих

мест? Может быть, у вас там антисанитарные условия.

— А если его интересуют не санитарные условия?

Виктор в замешательстве посмотрел на Голема.

— Вы опять шутите? — спросил он.

— Опять нет, — ответил Голем.

— Так он что, по-вашему — шпион?

— Шпион — слишком емкое понятие, — возразил Голем.

— Погодите, — сказал Виктор. — Давайте начистоту. Кто намотал проволоку и поставил охрану?

— Ох, уж эта проволока, — вздохнул Голем. — Сколько об нее порвано одежды, а эти солдаты постоянно страдают поносом. Вы знаете лучшее средство от поноса? Табак с портвейном... точнее, портвейн с табаком.

— Ладно, — сказал Виктор. — Значит, генерал Пферд. Ага... — сказал он. — И этот молодой человек с портфелем... Вот оно что! Значит, это у вас просто военная лаборатория. Понятно... А Павор, значит, не военный. По другому, значит, ведомству. Или, может быть, он шпион не наш, а иностранный?

— Упаси бог! — сказал Голем с ужасом. — Этого нам еще не хватало.

— Так... А он знает, кто этот парень с портфелем?

— Думаю, да, — сказал Голем.

— А этот парень знает, кто такой Павор?

— Думаю — нет, — сказал Голем.

— Вы ему ничего не сказали?

— Какое мне дело?

— И генералу Пферду не сказали?

— И не думал.

— Это не справедливо, — произнес Виктор. — Надо сказать.

— Слушайте, Виктор, — произнес Голем. — Я позволил вам болтать на эту тему только для того, чтобы вы испугались и не лезли в чужую карту.

Вам это совершенно ни к чему. Вы и так уже на заметке, вас могут попросить, вы даже пикнуть не успеете.

— Меня испугать нетрудно, — сказал Виктор со вздохом. — Я испуган с детства. И все-таки я никак не могу понять: что им всем нужно от мокрецов?

— Кому — им? — устало и укоризненно спросил Голем.

— Павору. Пферду. Парню с портфелем. Всем этим крокодилам.

— Господи, — сказал Голем. — Ну что в наше время нужно крокодилам от умных и талантливых людей? Я вот не понимаю, что *вам* от них нужно. Что вы лезете во все эти дела? Мало вам своих собственных неприятностей? Мало вам господина Президента?

— Много, — согласился Виктор. — Я сыт по горло.

— Ну и прекрасно. Поезжайте в санаторий, возьмите с собой пачку бумаги... хотите я вам подарю пишущую машинку?

— Я пишу по старой системе, — сказал Виктор. — Как Хэмингуэй.

— Вот и прекрасно. Я вам подарю огрызок карандаша. Работайте, любите Диану. Может быть, вам еще сюжет дать? Может быть, вы уже исписались?

— Сюжеты рождаются из темы, — важно сказал Виктор. — Я изучаю жизнь.

— Ради бога, — сказал Голем. — Изучайте жизнь сколько вам угодно. Только не вмешивайтесь в процессы.

— Это невозможно, — возразил Виктор. — Прибор неизбежно влияет на картину эксперимента. Разве вы забыли физику? Ведь мы наблюдаем не мир, как таковой, а мир плюс воздействие наблюдателя.

— Вам уже один раз дали кастетом по черепу, а в следующий раз могут просто пристрелить.

— Ну, — сказал Виктор. — Во-первых, может быть, вовсе не кастетом, а кирпичом, а во-вторых, мало-ли где мне могут дать по черепу? Меня в любой момент могут повесить, так что же, теперь — из номера не выходить?

Голем покусал нижнюю губу. У него были желтые лошадиные зубы.

— Слушайте, вы, прибор, — сказал он. — Вы тогда вмешались в эксперимент случайно и немедленно получили по башке. Если теперь вы вмешаетесь сознательно...

— Я ни в какой эксперимент не вмешивался, — сказал Виктор. — Я шел себе спокойно от Лолы и вдруг вижу...

— Идиот, — сказал Голем. — Идет он себе и видит. Надо было перейти на другую сторону, ворона ты безмозглая.

— Чего это я ради буду переходить на другую сторону?

— А того ради, что один ваш хороший знакомый занимался выполнением своих прямых обязанностей, а вы туда влезли, как баран.

Виктор выпрямился.

— Какой еще хороший знакомый? Там не было ни одного знакомого.

— Знакомый подоспел сзади с кастетом. У вас есть знакомые с кастетами?

Виктор залпом допил свой коньяк. С удивительной отчетливостью он вспомнил: Павор с покрасневшим от гриппа лицом вытаскивал из кармана платок, и кастет со стуком падает на пол — тяжелый, тусклый, прикладистый.

— Бросьте, — сказал Виктор и откашлялся. — Ерунда. Не мог Павор...

— Я не называл никаких имен, — возразил Голем.

Виктор положил руки на стол и оглядел свои сжатые кулаки.

— При чем здесь его обязанности? — спросил он.

— Кому-то понадобился живой мокрец, очевидно. Киднэпинг.

— А я помешал?

— Пытался помешать.

— Значит, они его все-таки схватили?

— И увезли. Скажите спасибо, что вас не прихватили — во избежании утечки информации. Их ведь судьба литературы не занимает.

— Значит, Павор... — медленно сказал Виктор.

— Никаких имен, — напомнил Голем строго.

— Сукин сын, — сказал Виктор. — Ладно, посмотрим... А зачем понадобился им мокрец?

— Ну как — зачем? Информация... Где взять информацию? Сами знаете — проволока, солдаты, генерал Пферд...

— Значит, сейчас его там допрашивают? — проговорил Виктор.

Голем долго молчал. Потом сказал:

— Он умер.

— Забили?

— Нет. Наоборот. — Голем снова помолчал. — Они, болваны, не давали ему читать, и он умер от голода.

Виктор быстро взглянул на него. Голем печально улыбался. Или плакал от горя. Виктор почувствовал вдруг ужас и тоску, душную тоску. Свет торшера померк. Это было похоже на сердечный приступ. Виктор задохнулся и с трудом оттянул узел галстука. Боже мой, подумал он, какая же это дрянь, какая гадость, бандит, холодный убийца... а после этого, через час, помыл руки, попрыскался духами, прикинул, какие благодарности перепадут от начальства, и сидел рядом, и чокался со мной, и улыбался мне, и говорил со мной, как с товарищем, и все врал, улыбался и врал, с удовольствием врал, наслаждался, издевался надо мной, хихикал в кулак, когда я отворачивался, подмигивал сам себе, а потом сочувственно спрашивал, что у меня с головой... Словно сквозь туман, Виктор видел, как доктор Р.Квадрига медленно поднял голову, разинул в неслышном крике запекшийся рот и стал судорожно шарить по скатерти трясущимися руками, как слепой, и глаза у него были, как у слепого, когда он вертел головой и все кричал, кричал, а Виктор ничего не слышал... И правильно, я сам дерьмо, никому не нужный, мелкий человечек, в морду меня сапогом, и держать за руки, не давать утираться, а на кой черт я кому нужен, надо было бить покрепче, чтобы не



встал, а я как во сне с ватными кулаками, и боже мой, на кой черт я живу, и на кой черт живут все, ведь это так просто, подойти сзади и ударить железом в голову, и ничего не изменится, родится за тысячу километров отсюда в ту же самую секунду другой ублюдок... Жирное лицо Голема обрюзгло еще сильнее и стало черным от проступившей щетины, глаза совсем заплыли, он лежал в кресле неподвижно, как бурдюк с прогоркшим маслом, двигались только пальцы, когда он медленно брал рюмку за рюмкой, беззвучно отламывал ножку, ронял и снова брал, и снова ломал и ронял... И никого не люблю, не могу любить Диану, мало ли с кем я сплю, спать-то все умеют, но разве можно любить женщину, которая тебя не любит, и женщина не может любить, когда ты не любишь ее, и так все вертится в проклятом бесчеловеческом кольце, как змея вертится, гонится за своим хвостом, как животные спариваются и разбегаются... А Тэдди плакал, поставив локти на стойку, положив костлявый подбородок на костлявые кулаки, его лысый лоб шафранно блестел под лампой, и по впалым щекам безостановочно текли слезы, и они тоже блестели под лампой... А все потому, что я дерьмо, и ни какой не писатель, какой из меня к черту писатель, если я не терплю писать, если писать — это мучение, стыдное, неприятное, гадкое, что-то вроде болезненного физиологического отправления, вроде поноса, вроде выдавливания гноя из чирья, ненавижу, страшно подумать, что придется заниматься этим всю жизнь, что обречен, что теперь уже не отпустят, а будут требовать: давай, давай, и я буду давать, но сейчас я не могу, даже думать не могу об этом, господи, пусть я не буду об этом думать, а то меня вырвет... Бол-Кунац стоял за спиной Р.Квадриги и смотрел на часы, тоненький, мокрый, с мокрым свежим лицом, с чудными темными глазами, и от него, разрывая плотную горячую духоту, шел свежий запах — запах травы и ключевой воды, запах лилий, солнца и стрекоз над озером... И мир вернулся. Только какое-то смутное воспоминание или ощущение, или воспоминание об ощущении метнулось за угол: чей-то отчаянный оборвавшийся крик,

непонятный скрежет, звон, хруст стекла...

Виктор облизнул губы и потянулся за бутылкой. Доктор Р. Квадрига, лежа головой на скатерти, хрипло бормотал: «Ничего не нужно. Спрячьте меня. Ну их...» Голем озабоченно сметал со стола стеклянные обломки. Бол-Кунац сказал:

— Господин Голем, простите, пожалуйста. Вам письмо, — он положил перед Големом конверт и снова взглянул на часы. — Добрый вечер, господин Банев, — сказал он.

— Добрый вечер, — сказал Виктор, наливая себе коньяку.

Голем внимательно читал письмо. За стойкой Тэдди шумно сморкался в клетчатый носовой платок.

— Слушай, Бол-Кунац, — сказал Виктор. — Ты видел, кто меня тогда ударил?

— Нет, — сказал Бол-Кунац, поглядев ему в глаза.

— Как так — нет? — сказал Виктор, нахмурившись.

— Он стоял ко мне спиной, — объяснил Бол-Кунац.

— Ты его знаешь, — сказал Виктор. — Кто это был?

Голем издал неопределенный звук. Виктор быстро оглянулся на него. Голем, не обращая ни на кого внимания, задумчиво рвал записку на мелкие клочки. Обрывки он спрятал в карман.

— Вы ошибаетесь, — сказал Бол-Кунац. — Я его не знаю.

— Банев, — пробормотал Р. Квадрига. — Я тебя прошу... Я не могу там один... Пойдем со мной... Очень жутко...

Голем поднялся, поискал пальцем в жилетном кармане, потом крикнул:

— Тэдди! Запишите на меня... И учтите, что я разбил четыре рюмки...

— Ну, я пошел, — сказал он Виктору. — Подумайте и примите разумное решение. Может быть, вам даже лучше уехать.

— До свидания, господин Банев, — вежливо сказал Бол-Кунац. Виктору показалось, что мальчик едва заметно отрицательно покачал головой.

— До свидания, Бол-Кунац, — сказал он. — До свидания.

Они ушли. Виктор в задумчивости допил коньяк. Подошел официант, лицо у него было все опухшее, все в красных пятнах. Он стал убирать со стола, и движения его были непривычно неловки и неуверенны.

— Вы здесь недавно? — спросил Виктор.

— Да, господин Банев. Сегодня с утра.

— А что Питер, заболел?

— Нет, господин Банев. Он уехал. Не выдержал. Я тоже, наверное, уеду...

Виктор посмотрел на Р. Квадригу.

— Отведите его потом в номер, — сказал он.

— Да, конечно, господин Банев, — ответил официант нетвердым голосом.

Виктор расплатился, прощально помахал Тэдди и вышел из ресторана в вестибюль. Он поднялся на второй этаж, подошел к двери Павора, поднял руку, чтобы постучать, постоял немного и, не постучав, снова спустился вниз. Руки у портье были мокрые, к ним приставали клочья волос, и волосами был обсыпан его форменный сюртук, а на лице, на обеих щеках вспухли свежие царапины. Он посмотрел на Виктора — глаза у него были ошалелые. Но сейчас нельзя было замечать всех этих странностей, это было бы бестактно и жестоко и тем более нельзя было говорить об этом, необходимо было сделать вид, будто ничего не случилось, все это надо отложить на потом, на завтра, или, может быть, даже на послезавтра. Виктор спросил:

— Где остановился этот... знаете, молодой человек в очках, он всегда ходит с портфелем.

Портье замялся. Как бы в поисках выхода, он посмотрел на номерную доску с ключами, а потом все-таки ответил:

— В триста двенадцатом, господин Банев.

— Спасибо, — сказал Виктор, кладя на конторку монетку.

— Только они не любят, когда их беспокоят, — нерешительно предупредил портье.

— Я знаю, — сказал Виктор. — Я и не думал их беспокоить. Я просто так спросил... загадал, Понимаете ли: если в четном, то все будет хорошо.

Портье бледно улыбнулся.

— Какие же у вас могут быть неприятности, господин Банев? — Вежливо спросил он.

— Всякие могут быть, — вздохнул Виктор. — Большие и малые. Спокойной ночи.

Он поднялся на третий этаж, двигаясь неторопливо, нарочито неторопливо, словно бы для того, чтобы все обдумать и взвесить, и прикинуть возможные последствия, и учесть все, на три года вперед, но на самом деле думал только о том, что ковер на лестнице давным-давно пора сменить, облез ковер, вытерся. И только уже перед тем, как постучать в дверь триста двенадцатого номера (люкс: две спальни и гостиная, телевизор, приемник первого класса, холодильник и бар), он чуть не сказал вслух: «Вы крокодилы, господа? Очень приятно. Так вы у меня будете жрать друг друга».

Стучать пришлось довольно долго: сначала деликатно костяшками пальцев, а когда не ответили — более решительно кулаком, а когда и на это не отреагировали — только скрипнули половицей и задышали в замочную скважину — тогда, повернувшись задом, каблуками, уже совсем грубо.

— Кто там? — спросил, наконец, голос за дверью.

— Сосед, — ответил Виктор. — Откройте на минутку.

— Что вам надо?

— Мне надо сказать вам пару слов.

— Приходите утром, — сказал голос за дверью. — Мы уже спим.

— Черт бы вас подрал, — сказал Виктор, рассердившись. — Вы хотите,

чтобы меня здесь увидели? Откройте, чего вы боитесь?

Щелкнул ключ и дверь приоткрылась. В щели появился тусклый глаз долговязого профессионала. Виктор показал ему раскрытые ладони.

— Пару слов, — сказал он.

— Заходите, — сказал долговязый. — Только без глупостей.

Виктор вошел в прихожую, долговязый закрыл за ним дверь и зажег свет. Прихожая была тесная, вдвоем они с трудом помещались в ней.

— Ну, говорите, — сказал долговязый. Он был в пижаме, спереди чем-то запачканный. Виктор с изумлением принялся — от долговязого несло спиртом. Правую руку он, как и полагалось, держал в кармане.

— Мы так и будем здесь беседовать? — осведомился Виктор.

— Да.

— Нет, — сказал Виктор. — Здесь я беседовать не буду.

— Как хотите, — сказал долговязый.

— Как хотите, — сказал Виктор. — Мое дело маленькое. Они помолчали.

Долговязый, уже не скрываясь, внимательно обшаривал Виктора глазами.

— Кажется, ваша фамилия Банев? — сказал он.

— Кажется.

— Ага, — сказал долговязый хмуро. — Так какой же вы сосед? Вы живете на втором этаже.

— Сосед по гостинице, — объяснил Виктор.

— Ага... Так что вам нужно, я не пойму.

— Мне нужно кое-что вам сообщить, — сказал Виктор. — Есть кое-какая информация. Но я уже начинаю раздумывать, стоит ли.

— Ну, ладно, — сказал долговязый. — Пойдемте в ванную.

— Знаете, — сказал Виктор. — Я, пожалуй, пойду.

— А почему вы не хотите в ванную? Что за капризы?

— Вы знаете, — сказал Виктор, — я раздумал. Я, пожалуй, пойду. В конце концов это не мое дело. — Он сделал движение.

Долговязый даже закричал от раздражающих его противоречий.

— Вы, по-моему, писатель, — сказал он. — Или я вас с кем-то путаю?

— Писатель, писатель, — сказал Виктор. — До свидания.

— Да нет, погодите. Так бы сразу и сказали. Пойдемте. Вот сюда.

Они вошли в гостиную, где сплошь были портьеры — справа портьеры, слева портьеры, прямо, на огромном окне, портьеры. Огромный телевизор в углу сверкал цветным экраном, звук был выключен. В другом углу из мягкого кресла под торшером смотрел на Виктора поверх развернутой газеты очкастый молодой человек, тоже в пижаме и шлепанцах. Рядом с ним на журнальном столике возвышалась четырехугольная бутылка и сифон. Портфеля нигде не было видно.

— Добрый вечер, — сказал Виктор. Молодой человек молча наклонил голову.

— Это ко мне, — сказал долговязый. — Не обращай внимания.

Молодой человек снова кивнул и закрылся газетой.

— Прошу сюда, — сказал долговязый. Они прошли в спальню направо, и долговязый сел на кровать. — Вот кресло, — сказал он. — Садитесь и выкладывайте.

Виктор сел. В спальне густо пахло застоявшимся табачным дымом и офицерским одеколоном. Долговязый сидел на кровати и смотрел на Виктора, не вынимая руки из кармана. В гостиной хрустела газета.

— Ладно, — сказал Виктор. Не то, чтобы ему удалось полностью преодолеть сомнение, но раз он сюда пришел, надо было говорить. — Я примерно представляю себе, кто вы такие. Может быть, я ошибаюсь, и тогда все в порядке. Но если я не ошибаюсь, то вам полезно будет узнать, что за вами следят и стараются вам помешать.

— Предположим, — сказал долговязый. — И кто же за нами следит?

— Вами очень интересуется человек по имени Павор Сумман.

— Что? — сказал долговязый. — Санинспектор, что ли?

— Он не санинспектор. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать.

— Виктор встал, но долговязый не пошевелился.

— Предположим, — повторил он. — А откуда вы это, собственно, знаете?

— Это важно? — спросил Виктор.

Некоторое время долговязый раздумывал.

— Предположим, что не важно, — произнес он.

— Ваше дело — проверить, — сказал Виктор. — А я больше ничего не знаю. До свидания.

— Да куда же вы, погодите, — сказал долговязый. Он нагнулся к туалетному столику, вытащил бутылку и стакан. — Так хотели войти и теперь уже уходите... Ничего, если из одного стакана?

— Это смотря что, — ответил Виктор и сел.

— Шотландское, — сказал долговязый. — Устраивает?

— Настоящее шотландское?

— Настоящий скоч. Получайте, — он протянул Виктору стакан.

— Живут же люди, — сказал Виктор и выпил.

— Куда нам до писателей, — сказал долговязый и тоже выпил. — Вы бы все-таки рассказали толком.

— Бросьте, — сказал Виктор. — Вам за это деньги платят. Я вам назвал имя, адрес вы сами знаете, вот и займитесь. Тем более, что я на самом деле ничего не знаю. Разве что... — Виктор остановился и сделал вид, что его осенило. Долговязый немедленно клюнул.

— Ну, — сказал он. — Ну?

— Я знаю, что он похитил одного мокреца и что он действовал вместе с городскими легионерами. Как его там... Фламенты... Ювенты...

— Фламин Ювента, — подсказал долговязый.

— Вот-вот.

— Насчет мокреца — это точно? — спросил долговязый.

— Да. Я попытался помешать, а господин санитарный инспектор треснул меня кастетом по голове. А потом, пока я валялся, они увезли его на джипе.

— Так-так, — произнес долговязый. — Значит, это был Сумман... Слушайте, а вы молодец, Банев! Хотите еще виски?

— Хочу, — сказал Виктор. Чтобы он не говорил себе, как бы он себя не уговаривал, как бы он себя не настраивал, ему было противно. Ну, ладно, подумал он. И на том спасибо, что шотландское, по крайней мере, не мучаюсь. Никакого удовольствия, хотя они теперь начнут жрать друг друга. Голем прав: зря я полез в это дело... Или Голем хитрее, чем я думаю?

— Прошу, — сказал долговязый, протягивая ему полный стакан.

## 9

— Который час? — сонно спросила Диана.

Виктор аккуратно снял бритвой полоску мыла с левой скулы, поглядел в зеркало, потом сказал:

— Дрыхни, малыш, дрыхни. Рано еще.

— Действительно, — сказала Диана. Скрипнул диван. — Девять часов. А ты что там делаешь?

— Бреюсь, — ответил Виктор, снимая следующую полоску мыла. — Захотелось мне вдруг побриться. Дай, думаю, побреюсь.

— Сумасшедший, — сказала Диана сквозь зевок. — Вечером надо было бриться. Всю меня исполосовал своими колючками. Кактус.

В зеркало ему было видно, как она поднялась, подошла к креслу, забралась с ногами и стала смотреть на него. Виктор ей подмигнул. Опять она была другая, нежная-нежная, мягкая-мягкая, ласковая-ласковая, свернулась, как сытая кошка, ухоженная, обглаженная, благостная — совсем



не такая, что поднялась вчера к нему в номер.

— Сегодня ты похожа на кошку, — сказал он. — И даже не на кошку — на кошечку, на кошачочку... Чего ты улыбаешься?

— Это не про тебя. Просто почему-то вспомнилось...

Она зевнула и сладко потянулась. Она тонула в пижаме Виктора, из бесформенной кучи шелка в кресле выглядывало только ее чудное лицо и тонкие руки. Как из волны. Виктор стал бриться быстрее.

— Не торопись, — сказала она. — Обрежешься, все равно мне пора уже ехать.

— Поэтому я и тороплюсь, — возразил Виктор.

— Ну, нет, я так не люблю. Так только кошки... Как там мои шмотки?

Виктор протянул руку и потрогал ее платье и чулки, развешенные на обогревательной решетке. Все высохло.

— Куда ты спешишь? — спросил он.

— Я же тебе говорила. К Росшеперу.

— Что-то я ничего не помню, что там с Росшепером?

— Ну, он же повредился, — сказала Диана.

— Ах, да! — сказал Виктор. — Да-да, ты что-то говорила. Откуда-то он вывалился. Здорово расшибся?

— Этот дурак, — сказала Диана, — решил вдруг покончить с собой и выбросился в окно. Кинулся, как бык, головой вперед, проломил раму, но забыл при этом, что находится на первом этаже. Повредил коленку, заорал, а теперь лежит.

— Что это он? — равнодушно спросил Виктор. — Белая горячка?

— Что-то вроде.

— Подожди, — сказал Виктор. — Так это ты из-за него два дня ко мне не приезжала? Из-за этого вола?

— Ну да! Главный врач мне приказал с ним сидеть, потому что он, то есть Росшепер, без меня не мог. Не мог и все тут. Ничего не мог. Даже

помочиться. Мне приходилось изображать журчание воды и рассказывать про писсуары.

— Что ты в этом деле понимаешь? — пробормотал Виктор. — Ты вот ему про писсуары излагала, а я тут мучился один, тоже ничего не мог, ни строчки не написал. Ты знаешь, я вообще не люблю писать, а в последнее время... Вообще жизнь у меня в последнее время... — Он остановился. Какое ей дело? — подумал он. Спарились и разбежались. — Да, слушай... Когда, ты говоришь, Росшепер сверзился?

— Третьего дня, — ответила Диана.

— Вечером?

— Угу, — сказала Диана, грызя печенье.

— В десять часов вечера, — сказал Виктор. — Между десятью и одиннадцатью.

Диана перестала жевать.

— Правильно, — сказала она. — А ты откуда знаешь? Принял его некробиотическую телепатему?

— Подожди, — сказал Виктор. — Я тебе сейчас расскажу что-то интересное. Но сначала — а ты что делала в этот момент?

— Мотала я бинты, и вдруг такая тоска на меня навалилась, как головная боль, хоть в петлю. Сунулась я мордой в эти бинты и реву, да как реву! В три ручья, с детства так не ревела...

— И вдруг все прошло, — сказал Виктор.

Диана задумалась.

— Да... Нет. Тут вдруг Росшепер как заорет на улице, я перепугалась и выскочила...

Она хотела сказать еще что-то, но в дверь застучали, рванули ручку, и голос Тэдди прохрипел из коридора: «Виктор! Виктор, проснись! Открой, Виктор!» Виктор замер с бритвой в руке. «Виктор! — хрипел Тэдди. — Открой!» — и бешено вертел ручку. Диана вскочила и повернула ключ.

Дверь распахнулась, ворвался Тэдди, мокрый, растерзанный, в руке у него был обрез.

— Где Виктор? — хрипло рявкнул он.

Виктор вышел из ванны.

— Что такое? — спросил он. У него заколотилось сердце. Арест... Война...

— Дети ушли, — тяжело дыша, сказал Тэдди. — Собирайся, дети ушли!

— Постой, — остановил его Виктор. — Какие дети?

Тэдди швырнул обрез на стол в кучу исписанной, исчерканной, измятой бумаги.

— Сманили детей, сволочи! — заорал он. — Сманили, гады! Ну, теперь все! Хватит, натерпелись... Теперь все!

Виктор еще ничего не понимал, он только видел, что Тэдди вне себя. Таким он видел Тэдди только один раз, когда во время большого скандала в ресторане у него под шумок взломали кассу. Виктор в растерянности хлопал глазами, а Диана подхватила со спинки кресла белье, проскользнула в ванную и прикрыла за собой дверь. И в этот момент резко нервно затрещал телефон. Виктор схватил трубку. Это была Лола.

— Виктор, — заныла она. — Я ничего не понимаю, Ирма куда-то пропала, оставила записку, что никогда не вернется, а кругом говорят, что дети ушли из города... Я боюсь! Сделай что-нибудь... — Она почти плакала.

— Хорошо, хорошо, сейчас, — сказал Виктор. — Дайте штаны надеть. — Он бросил трубку и оглянулся на Тэдди. Бармен сидел на разворошенной постели и, бормоча страшные слова, сливал в стакан остатки из всех бутылок. — погоди, — сказал Виктор. — Надо без паники. Я сейчас...

Он вернулся в ванную и принялся торопливо добривать намыленный подбородок, он сейчас же несколько раз порезался, ему некогда было направлять бритву, а Диана тем временем выскочила из-под душа и шуршала одеждой у него за спиной, лицо у нее было жесткое и решительное, словно

она готовилась к драке, но она была совершенно спокойна.

...А дети шли бесконечной серой колонной по серым размытым дорогам, спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем, или, согнувшись, промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки, или, маленькие, беспомощные, или, плача, или молча, или, оглядываясь, или, держась за руки и за хлястики, а по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фигуры без лиц, а на месте лиц были черные повязки, а над повязками безжалостно холодно смотрели нечеловеческие глаза, и руки, затянутые в черные перчатки, сжимали автоматы, и дождь лил на вороненую сталь, и капли дрожали и катились по стали... чепуха, думал Виктор, чепуха, это совсем не то, совсем не теперь, это я видел, но это было очень давно, а теперь совсем не так...

...Они уходили радостно, и дождь был для них другом, они весело шлепали по лужам горячими босыми ногами, они весело болтали и пели, и не оглядывались, потому что они навсегда забыли свой храпящий предутренний город, скопление клопных нор, гнездо мелких страстишек и мелких подлостей, чрево, беременное чудовищными преступлениями, непрерывно творящее преступления и преступные намерения, как муравьиная матка непрерывно извергает яйца, они ушли, щебеча и болтая, и скрылись в тумане, пока мы, пьяные, захлебывались спертым воздухом, поражаемые погаными кошмарами, которых они никогда не видели и никогда не увидят...

Он надевал брюки, прыгая на одной ноге, когда стекла задребезжали, и густой механический рев проник в комнату. Тэдди опрометчиво бросился к окну, и Виктор тоже подбежал к окну, но за окном был все тот же дождь, пустая мокрая улица, и только кто-то проехал на велосипеде, мокрый брезентовый мешок, натужнодвигающий ногами. А стекла продолжали дребезжать и позвякивать, и низкий тоскливый рев продолжался, а минутой спустя к нему присоединились отрывистые жалобные гудки.

— Пошли, — сказала Диана. Она была уже в плаще.

— Нет, погоди, — сказал Тэдди. — Виктор, оружие у тебя есть? Пистолет какой-нибудь, автомат... Есть?

Виктор не ответил, схватил свой плащ, и они втроем сбежали по лестнице в вестибюль, совсем уже пустой, без швейцара и портье. Казалось, в гостинице не осталось ни одного человека, только в ресторане за столом сидел Р. Квадрига, недоуменно крутя головой и, видимо, давно уже дожидаясь завтрака. Они выскочили на улицу и влезли в грузовик Дианы — все трое в кабину. Диана села за руль, и они понеслись по городу. Диана молчала, Виктор курил, стараясь собраться с мыслями, а Тэдди все продолжал вполголоса изрыгать невероятную брань, и даже Виктор не понимал значения многих слов потому что такие слова мог знать только Тэдди — приютская крыса воспитанник портовых трущоб, а потом солдат похоронной команды, а потом бандит и мародер, а потом бармен, бармен, бармен и опять бармен.

В городе людей почти не было видно, только на углу Солнечной Диана остановилась, чтобы взять в кузов растерянную супружескую пару. Низкий рев сирены ПВО и писклявые заводские гудки не прекращались, и было что-то апокалиптическое в этом стоне механических голосов над безлюдным городом. Все сжималось внутри, хотелось куда-то бежать и то ли прятаться, то ли стрелять, и даже «Братья по разуму» на стадионе гоняли мяч без обычного энтузиазма, а некоторые из них, разинув рты, оглядывались по сторонам, как бы пытаясь что-то уразуметь.

На шоссе за окраиной люди стали попадаться все чаще и чаще. Некоторые шли пешком, захлебываясь в дожде, жалкие, перепуганные, плохо соображающие, что они делают и зачем. Другие катили на велосипедах и тоже уже выдохлись, потому что ехать приходилось против ветра. Несколько раз грузовик проезжал мимо брошенных автомобилей, поломавшихся или не заправленных впопыхах, а один автомобиль съехал в кювет. Диана останавливалась и подбирала всех, и скор кузов оказался набит до отказа.

Виктор и Тэдди тоже перебрались в кузов, уступив места женщине с грудным младенцем и какой-то полусумасшедшей старухе. Потом места не осталось и в кузове, и Диана уже больше не останавливалась, и грузовик мчался вперед, заливая потоками воды и обгоняя десятки и сотни людей, тащившихся в лепрозорий. Несколько раз грузовик обгонял легковые машины, набитые людьми, мотоциклы, а еще один грузовик догнал их и пристроился сзади. Диана привыкла возить коньяк для Росшепера или гонять пустую машину по окрестностям для собственного удовольствия, поэтому в кузове было страшно. Сесть все не могли, не было места, и стоявшие цеплялись друг за друга и за головы сидящих, и каждый старался забраться подальше от бортов, и никто ничего не говорил — все только пыхтели и ругались, а одна женщина непрерывно плакала, и шел дождь — такой, какой Виктор не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что на свете бывают такие дожди — сплошной тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер нес его круто навстречу движению. Видимость была отвратительная — пятнадцать метров вперед и пятнадцать назад, и Виктор очень боялся, что Диана вдобавок ко всему сшибет кого-нибудь на месте или врежется в затормозившую машину. Но все обошлось благополучно, и Виктор только сильно отдал ногу, когда все в кузове повалились друг на друга в последний раз и грузовик занесло перед громадным скоплением машин перед воротами лепрозория.

Наверное, весь город собрался здесь. Здесь не было дождя, и, казалось, что город прибежал сюда, спасаясь от потопа. Вправо и влево от шоссе, насколько хватало глаз, вдоль колючей проволоки растянулась тысячная толпа, в которой тонули разбросанные, стоящие кое-как пустые автомобили — роскошные длинные лимузины, потрепанные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы и даже один автокран, на стреле которого сидело несколько человек. Над толпой висел глухой гул, иногда раздавались пронзительные крики.

Все попрыгали из кузова, и Виктор сразу потерял из виду Диану и Тэдди, вокруг были только незнакомые лица, мрачные, ожесточенные, недоумевающие, плачущие, кричащие, с закаченными в обмороке глазами, оскаленные... Виктор попытался пробиться к воротам, но через несколько шагов безнадежно завяз. Люди стояли плотной стеной, и никто не желал уступать своего места, их можно было толкать, пинать, бить, они даже не оборачивались, они только вжимали головы в плечи и все старались просунуться вперед, вперед, ближе к воротам, ближе к своим детям. Они вставали на цыпочки, они тянули шеи, и ничего не было видно за колышущейся массой капюшонов и шляп.

— Господи, за что? В чем согрешили мы, господа?

— Сволочи! Давно надо было вырезать. Говорили же люди...

— А где бургомистр? Какого черта он делает? Где полиция? Где все эти толстобрюхие?

— Сим, меня сейчас задавят... Сим, задыхаюсь! О, Сим...

— В чем отказывали? Что для них жалели? От себя кусок отрывали, ходили босиками, лишь бы их одеть-обуть...

— Напереть всем разом — и ворота к черту...

— Да я его в жизни пальцем не тронула. Я видела, как вы своего-то пороли, а у нас в доме в заводе такого не было...

— Видал пулеметы? Это что же, в народ стрелять? За своих-то детей?

— Муничка! Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка!

— Да что же это, господа? Это же безумие какое-то. Где это видано?

— Ничего, legionеры им покажут... Они с тылу, понял? Ворота откроют, тут и мы поднапрям...

— А пулеметы видел? То-то и оно...

— Пустите меня! Да пустите же вы меня! У меня дочка там.

— Они давно собирались, я же видела, да боязно было спрашивать.

— А может быть и ничего? Что же они, звери что ли? Это же не

оккупанты все-таки, не на расстрел же их повели, не в печи...

— В крр-р-ровь, зубами рвать буду!

— Да-а, видно совсем мы дерьмо стали, если родные дети от нас к заразам ушли... Брось, сами они ушли, никто их не гнал насильно...

— Эй, у кого ружья есть? Выходи! У кого ружья есть, говорю? — Выходи ко мне, давай сюда, вот он я!

— Это мои дети, господин хороший, я их породил, и я ими распоряжаться буду как желаю!

— Да где же полиция, господи?

— Надо телеграмму господину Президенту! Пять тысяч подписей — это вам не шутка!..

— Женщину задавили! Подвинься, говорю, сволочь! Не видишь?

— Муничек мой! Муничек, Муничек!

— Хрен от этих петиций толку. У нас петиций не любят. Дадут этой петицией по мозгам...

— Открывай ворота, так вашу перетак!. Мокрецы паршивые, гады!

— Ворота!

— Отворяй ворота!

Виктор полез назад. Это было трудно, несколько раз его ударили, но он все-таки выбрался, пробрался к грузовику и снова залез в кузов. Над лепрозорием стоял туман, в десятке метров от изгороди по ту сторону уже не было ничего видно. Ворота были плотно закрыты, перед ними оставалось пустое пространство, и в этом пространстве стояли, расставив ноги, направив на толпу автоматы, человек десять солдат внутренней службы в касках, надвинутых на глаза. На крыльце караульной будки, вставая от напряжения на носки, надсаживаясь, что-то кричал в толпу офицер, но его не было слышно. Над крышей караульной будки, словно громадная этажерка, возвышалась в тумане деревянная башня, на верхней площадке стоял пулемет и копошились люди в сером. Потом там, за колючей проволокой, еле



слышно позвякивая железом, прокатился вдоль ограды полугусеничный броневик, подпрыгнул несколько раз на кочках и скрылся в тумане. При виде броневика толпа притихла, так что стали даже слышны надсадные вопли офицера («...Спокойствие... имею приказ... по домам...»), затем снова загудела, заворчала, заревела.

Перед воротами возникло движение. Среди темных, синих, серых плащей и накидок засверкали знакомые до тошноты медные шлемы и золотые рубашки. Они возникали в толпе как пятна света, продирались в пустое пространство и там сливались в желто-золотую массу. Здоровенные парни в золотых рубахах до колен, перепоясанные армейскими офицерскими ремнями с тяжелыми пряжками, в начищенных медных касках, из-за которых легионеров звали попросту пожарниками, с короткими массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами Легиона — эмблема на пряжке, эмблема на левом рукаве, эмблема на груди, эмблема на дубинке, эмблема на морде, пробу ставить некуда, на спортивной мускулистой морде с волчьими глазами, и значки, созвездия значков, значок Отличного стрелка и Отличного парашютиста, и Отличного подводника, и еще значки с портретом господина Президента и его зятя, основателя Легиона, и его сына, обершефа Легиона... И у каждого в кармане бомба со слезоточивым газом, и если хоть один из этих болванов в порыве хулиганского энтузиазма бросит такую бомбу — ударит пулемет на вышке, ударят пулеметы броневика, ударят автоматы солдат, и все по толпе, а не по золотым рубашкам. Легионеры строились в шеренгу перед солдатами, вдоль шеренги, размахивая дубинкой, носился Фламин Ювента, племянничек, и Виктор уже начал отчаянно озираться, не зная, что делать, но тут офицеру вынесли из караулки мегафон, и офицер страшно обрадовался, даже заулыбался, и заревел громовым голосом, но он успел прореветь только: «Прошу внимания! Прошу собравшихся..», а затем мегафон, видимо, опять испортился; офицер, бледнея, подул в раструб, а Фламин Ювента, приготовившийся было слушать, принялся с удвоенным

усердием бегать и размахивать, и вдруг толпа грозно загудела — казалось, закричали все разом, и тот, кто уже кричал раньше, и те, которые раньше молчали или просто разговаривали, или плакали, или молились, и Виктор тоже закричал, не помня себя от ужаса при мысли о том, что сейчас произойдет. «Уберите болванов! — кричал он. — Уберите пожарников! Это смерть! Не надо! Диана!» Неизвестно, кто и что кричал в толпе, но толпа, до сих пор неподвижная, стала равномерно колыхаться, как гигантское блюдо студня, и офицер, уронив мегафон, белый, в красных пятнах, попятился к дверям караулки, лица солдат под касками ощерились и остервенели, а наверху, на башне, больше никто не шевелился, там замерли и целились. И тут раздался Голос.

Он был как гром, он шел со всех сторон сразу покрыл все остальные звуки. Он был спокоен, даже меланхоличен, какая-то безмерная скука слышалась в нем, безмерная снисходительность, словно говорил кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к шумевшей толпе, говорил через плечо, отвлекшись на минуту от важных дел ради этой, раздражившей его, наконец, пустяковины.

— Да перестаньте вы кричать, — сказал Голос. — Перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственному желанию, никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот. Они ушли потому, что вы стали окончательно неприятны. Не хотят они жить больше так, как живете вы и жили ваши предки. Вы очень любите подражать предкам и полагаете это человеческим достоинством, а они — нет. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людишками, рабами, конформистами, не хотят ваших семей и вашего государства.

Голос на минуту смолк. И целую минуту не было слышно ни звука, только какой-то шорох, словно туман шуршал, проползая над землей. Потом

Голос заговорил снова.

— Вы можете быть совершенно спокойны за своих детей. Им будет хорошо

— лучше, чем с вами, и много лучше, чем вам самим. Сегодня они не могут принять вас, но с завтрашнего дня приходите. В Лошадиной Лощине будет оборудован Дом Встречи, после пятнадцати часов приходите хоть каждый день. Каждый день в четырнадцать тридцать от городской площади будут отходить три больших автобуса. Этого будет мало, во всяком случае — завтра; пусть ваш бургомистр позаботится о добавочном транспорте.

Голос снова замолчал. Толпа стояла недвижимой стеной. Люди словно боялись пошевелиться.

— Только имейте в виду, — продолжал Голос. — От вас самих зависит, захотят ли дети встречаться с вами. В первые дни мы сможем еще заставить детей приходить на свидания, даже если им этого не захочется, а потом... смотрите сами. А теперь расходитесь. Вы мешаете и нам, и детям, и себе. И очень вам советую: подумайте, попытайтесь подумать, что вы можете дать детям. Поглядите на себя. Вы родили их на свет и калечите их по своему образу и подобию. Подумайте об этом, а теперь расходитесь.

Толпа осталась неподвижной, может быть, она пыталась думать. Виктор пытался. Это были обрывочные мысли. Не мысли даже, а просто обрывки воспоминаний, куски каких-то разговоров, глупо раскрашенное лицо Лолы... А может быть, лучше аборт? Зачем это нам сейчас... Отец с дрожащими от ярости губами... Я из тебя сделаю человека, щенок паршивый, я с тебя шкуру спущу... У меня объявилась дочка двенадцати лет, не можешь ли ты ее куда-нибудь прилично устроить? Ирма с любопытством смотрит на расхлюстанного Росшепера... Не на Росшепера, а на меня... мне пожалуй, стыдно, но что она понимает, соплячка?.. Брысь на место!.. Вот тебе кукла!.. Тебе еще рано, вырастешь — узнаешь...

— Ну что же вы стоите? — сказал громовой Голос. — Расходитесь!

Налетел тугой холодный ветер, ударил в лицо и затих.

— Идите же! — сказал Голос.

И снова налетел ветер, уже совсем плотный, как тяжелая мокрая ладонь — уперлась в лицо, толкнула и убралась. Виктор вытер щеки и увидел, что толпа попятилась. Кто-то окрикнул громко, раздались возгласы, звучащие неуверенно, вокруг автомобилей и автобусов возникли небольшие водовороты. В кузов грузовика полезли со всех сторон, и все заторопились, отталкивая друг друга, лезли в дверцы машин, нетерпеливо растаскивали сцепившиеся рулями велосипеды, затрещали двигатели, а многие уходили пешком, часто оглядываясь назад, не на автоматчиков, не на пулемет на башне, не на броневик, который подкатил с железным лязгом и стал у всех на виду. Виктор знал, почему они оборачиваются и почему торопятся, у него горели щеки и если он чего-нибудь боялся, так это что Голос снова скажет: «Идите!» и снова мокрая тяжелая ладонь брезгливо толкает его в лицо. Кучка дураков в золотых рубашках все еще нерешительно топталась перед воротами, но их уже стало меньше, а к остальным подошел офицер и рывкнул на них — внушительно-уверенный, исполняющий свой долг, и они тоже попятились, потом повернулись и побрели прочь, подбирая на ходу брошенные на землю серые, синие, темные плащи, и вот уже золотых пятен не осталось ни одного, а мимо катили автобусы, легковые машины, и люди в кузове, встревоженно — нетерпеливо озирались, спрашивали друг друга: «А где же водитель?»

Потом откуда-то вынырнула Диана, Диана Свирепая, поднялась на подножку, поглядела в кузов, крикнула сердито: «Только до перекрестка! Машина идет в санаторий!», и никто не осмелился возразить, все были на редкость тихие и на все согласные. Тэдди так и не появился. Должно быть, сел в другую машину. Диана развернула грузовик, и они поехали по знакомой бетонке, обгоняя кучки пешеходов и велосипедистов, а их обгоняли перегруженные легковые машины, грузно приседающие на амортизаторах. Дождя не было, только туман и мелкая изморозь. Дождь пошел уже тогда,

когда Диана подвела грузовик к перекрестку, и люди вылезли из кузова, а Виктор пересел в кабину.

Они молчали до самого санатория.

Диана сразу ушла к Росшеперу — так она, по крайней мере, сказала, а Виктор, сбросив плащ, рухнул на кровать в своей комнате, закурил и уставился в потолок. Может быть час, а может быть два, он беспрестанно курил, ворочался, вставал, ходил по комнате, бессмысленно выглядывал в окно, задергивал и снова раздвигал портьеры, пил воду из-под крана, потому что его мучила жажда, и снова валился на кровать.

...Унижение, думал он. Да, конечно. Надавали пощечин, называли подонком, прогнали, как надоевшего попрошайку; но все-таки это были отцы и матери, все-таки они любили своих детей, били их, но готовы были отдать за них жизни, развращали их своим примером, но ведь не специально, по невежеству... матери рожали их в муках, а отцы кормили их и одевали, и они ведь гордились своими детьми, и хвастались друг перед другом, проклиная их зачастую, но не представляли себе жизни без них... и ведь сейчас действительно жизнь их совсем опустела, вообще ничего не осталось. Так разве же можно с ними так жестоко, так презрительно, так холодно, так разумно, и еще надавать на прощание по морде...

...Неужели же, черт возьми, гадко все, что в человеке от животного? Даже материнство, даже улыбка мадонны, ее ласковые мягкие руки, подносящие младенцу грудь... Да, конечно, инстинкт и целая религия, построенная на инстинкте... наверное, вся беда том, что эту религию пытаются распространить и дальше, на воспитание, где никакие инстинкты уже не работают, а если работают, то только во вред... Потому что волчица говорит своим волчатам: «Кусайте как я», и этого достаточно, и зайчиха учит зайчат: «Удирайте как я», и этого тоже достаточно, но человек-то учит детеныша: «Думай, как я», а это уже преступление... Ну а эти-то как — мокрецы, заразы, гады, кто угодно, только не люди, по меньшей мере

сверхлюди, эти-то как? Сначала: «Посмотри, как думали до тебя, посмотри, что из этого получилось, это плохо, потому, что то-то и то-то, а получилось так-то и так-то». Только я не знаю, что это за то-то и что это за так-то, и вообще, все это уже было, все это уже пробовали, получались отдельные хорошие люди, но главная масса перла по старой дороге, никуда не сворачивала, по-нашему, по-простому. Да как ему воспитывать своего детеныша, когда отец его не воспитывал, а натаскивал: «Кусай, как я, и прячься, как я», и так же натаскивал его отца его дед, а деда — прадед, и так до глубины пещер, до волосатых копыеносцев, пожирателей мамонтов. Я-то их жалею, этих безволосых потомков, жалею их, потому что жалею самого себя, но им-то — им-то наплевать, им мы вообще не нужны, и не собираются они нас перевоспитывать, не собираются даже взрывать старый мир, нет им дела до старого мира, и от старого мира они требуют только одного — чтобы к ним не лезли. Теперь это стало возможно, теперь можно торговать идеями, теперь есть могущественные покупатели идей, и они будут охранять тебя, весь мир загонят за колючую проволоку, чтобы не мешал тебе старый мир, будут кормить тебя, будут тебя холить... будут самым предупредительным образом точить топор, которым ты рубишь тот самый сук, на котором они восседают, сверкая шитьем и орденами...

...И, черт возьми, это по-своему грандиозно — все уже пробовали, только этого не пробовали: холодное воспитание без всяких соплей, без слез... хотя что это я мелю, откуда я знаю, что у них там за воспитание... но все равно, жестокость, презрение, это же видно... Ничего у них там не получится, потому что, ну ладно, разум, думайте, учитесь, анализируйте, а как же руки матери, ласковые руки, которые снимают боль и делают мир теплым? И колючая щетина отца, который играет в войну и тигра, и учит боксу, и самый сильный, и знает больше всех на свете? Ведь это же тоже было! Не только визгливые (или тихие) свары родителей, не только ремень и пьяное бормотание, не только же беспорядочное обрывание ушей,

сменяющееся внезапно и непонятно судорожным одарением конфетами и медью на кино... Да откуда я знаю — быть может у них есть эквивалент всему хорошему, что существует в материнстве и отцовстве... как Ирма смотрела на того мокреца!.. Каким же это нужно быть, чтобы на тебя так смотрели... и уж во всяком случае, ни Бол-Кунац, ни Ирма, ни прыщавый нигилист-обличитель никогда не наденут золотых рубашек, а разве этого мало? Да черт возьми — мне от людей больше ничего не надо!...

...Подожди, сказал он себе. Найти главное. Ты за них или против? Бывает еще третий выход: наплевать, но мне не наплевать. Ах, как бы я хотел быть циником, как легко, просто и роскошно жить циником! Ведь надо же — всю жизнь из меня делают циника, стараются, тратят гигантские средства, тратят пули, цветы красноречия, бумагу, не жалеют кулаков, не жалеют людей, ничего не жалеют, только бы я стал циником, — а я никак... Ну, хорошо, хорошо. Все-таки: за или против? Конечно, против, потому что не терплю пренебрежения, ненавижу всяческую элиту, ненавижу всяческую нетерпимость и не люблю, ох, как не люблю, когда меня бьют по морде и прогоняют вон. И я — за, потому что люблю людей умных, талантливых, и ненавижу дураков, ненавижу тупиц, ненавижу золотых рубашек, фашистов ненавижу, и ясно, конечно, что так я ничего не определяю, я слишком мало знаю их, а из того, что знаю, из того, что в дел сам, в глаза бросается скорее плохое — жестокость, презрительность, физическое уродство, наконец... И вот что получается: за них Диана, которую я люблю, и Голем, которого я люблю, и Ирма, которую я люблю, и Бол-Кунац, и прыщавый нигилист... а кто против? Бургомистр против, старая сволочь, фашист и демагог, и полицмейстер, продажная шкура, и Росшепер Нант, и дура Лола, и шайка золотых рубашек, и Павор... Правда, с другой стороны за них — долговязый профессионал, а также некий генерал Пфферд — не терплю генералов, а против Тэдди и, наверное, еще много таких, как Тэдди... Да, тут большинством голосов ничего не решишь. Это что-то вроде демократических

выборов: большинство всегда за сволочь...

Часа в два пришла Диана, Диана Веселая Обыкновенная, в туго перетянutom белом халате, подмазанная и причесанная.

— Как работа? — спросила она.

— Горю, — ответил он. — Сгораю, светя другим.

— Да, дыму много. Ты бы хоть окно открыл... Лопать хочешь?

— Черт возьми, да! — сказал Виктор. Он вспомнил, что не завтракал.

— Тогда, черт возьми, пошли!

Они спустились в столовую. За длинными столами чинно и молча хлебали диетический суп «Братья по разуму», темные от физической усталости. Обтянутый синим свитером толстый тренер ходил у них за спинами, хлопал по плечам, ерошил им волосы и внимательно заглядывал в тарелки.

— Я тебя сейчас познакомлю с одним человеком, — сказала Диана. — Он будет с нами обедать.

— Кто такой? — с неудовольствием осведомился Виктор. Ему хотелось помолчать за едой.

— Мой муж, — сказала Диана. — Мой бывший муж.

— Ага, — произнес Виктор. — Ага, что ж... Очень приятно.

И чего это ей вздумалось, подумал он уныло. И кому это нужно. Он жалобно взглянул на Диану, но она уже быстро вела его к служебному столику в дальнем углу. Муж поднялся им навстречу — желтолицый, горбоносый, в темном костюме и в черных перчатках. Руки он Виктору не подал, а просто поклонился и негромко сказал:

— Здравствуйте, рад вас видеть.

— Банев, — представился Виктор с фальшивой сердечностью, которая нападала на него при виде мужей.

— Мы, собственно, уже знакомы, — сказал муж. — Я — Зурзматор.

— Ах, да! — воскликнул Виктор. — Ну, конечно. У меня, должен вам



сказать, память... — Он замолчал. — Погодите, — сказал он, — какой Зурзмансор?

— Павел Зурзмансор. Вы меня, наверное, читали, а недавно даже весьма энергично вступились за меня в ресторане. Кроме того мы еще в одном месте встречались, тоже при несчастных обстоятельствах. Давайте сядем.

Виктор сел. Ну, хорошо, подумал он. Пусть. Значит, без повязки они такие. Кто бы мог подумать? Пардон, а где же «очки»? У Зурзмансора, он же почему-то муж Дианы, он же горбоносый танцор, играющий танцора, который играет танцора, который на самом деле мокрец, или даже пять, считая с ресторанным, — не было у Зурзмансора «очков», будто они расплылись по всему лицу и окрасили кожу в желтоватый латиноамериканский цвет. А Диана со странной, какой-то материнской улыбкой смотрит то на меня, то на своего мужа. На бывшего мужа. И это было неприятно, Виктор почувствовал что-то вроде ревности, которой раньше никогда не ощущал, имея дело с мужьями. Официантка принесла суп.

— Ирма передает вам привет, — сказал Зурзмансор, разламывая кусочек хлеба. — Просит не беспокоиться.

— Спасибо, — отозвался Виктор машинально. Он взял ложку и принялся есть, не чувствуя вкуса. Зурзмансор тоже ел, поглядывая на Виктора исподлобья — без улыбки, но с каким-то юмористическим выражением. Перчаток он не снял, но в том, как он орудовал ложкой, как изящно ломал хлеб, как пользовался салфеткой, чувствовалось хорошее воспитание.

— Значит, вы все-таки тот самый Зурзмансор, — произнес Виктор. — Философ...

— Боюсь, что нет, — сказал Зурзмансор, промакивая губы салфеткой. — Боюсь, что к тому знаменитому философу я имею теперь весьма отдаленное отношение.

Виктор не нашелся, что сказать, и решил подождать с беседой. В конце

концов не я инициатор встречи, мое дело маленькое, он меня хотел увидеть, пусть он и начинает... Принесли второе. Внимательно следя за собой, Виктор принялся резать мясо. За длинными столиками дружно и простодушно чавкали «Братья по разуму», гремя ножами и вилками. А ведь я здесь дурак дураком, подумал Виктор. Братец по разуму. Она ведь наверное до сих пор его любит. Он заболел, пришлось им расстаться, а она не захотела расстаться, иначе зачем бы она приперлась в эту дыру, выносить горшки за Росшепером... И они часто видятся, он пробирается в санаторий, снимает повязку и танцует с ней... Он вспомнил как они танцевали — шерочка с машерочкой... Все равно. Она его любит. А мне какое дело? А ведь есть какое-то дело. Что уж там — есть. Только что есть? Они отобрали у меня дочь, но я ревную к ним дочь не как отец. Они отобрали у меня женщину, но я ревную к ним Диану не как мужчина... О черт, какие слова! Отобрали женщину, отобрали дочь... Дочь, которая увидела меня впервые за двенадцать лет жизни... Или ей уже тринадцать? Женщину, которую я знаю считанные дни... Но, заметьте, ревную

— и притом не как отец и не как мужчина. Да, было бы гораздо проще, если бы он сейчас сказал: «Милостивый государь, мне все известно, вы запятнали мою честь. Как насчет сатисфакции? «

— Как продвигается работа над статьей? — спросил Зурзмансор.

Виктор угрюмо посмотрел на него. Нет, это была не насмешка. И не светский разговор, чтобы завязать беседу. Этому мокрецу, кажется, действительно было любопытно знать, как продвигается работа над статьей.

— Никак, — сказал он.

— Было бы любопытно прочесть, — сообщил Зурзмансор.

— А вы знаете, что это должна быть за статья?

— Да, представляем. Но ведь вы такую писать не станете.

— А если меня вынудят? Меня генерал Пферд защищать не станет.

— Видите ли, — сказал Зурзмансор, — статья, которую ждет господин

бургомистр, у вас все равно не получится. Даже если вы будете очень стараться. Существуют люди, которые автоматически, независимо от своих желаний, трансформируют по своему любое задание, которое им дается. Вы относитесь к таким людям.

— Это хорошо или плохо? — спросил Виктор.

— С нашей точки зрения — хорошо. О человеческой личности очень мало известно, если не считать той ее составляющей, которая представляет собой набор рефлексов. Правда, массовая личность почти ни чего больше в себе и не содержит. Поэтому особенно ценны так называемые творческие личности перерабатывающие информацию в действительности индивидуально. Сравнивая известное и хорошо изученное явление с отражением этого явления в творчестве этой личности, мы можем многое узнать о психическом аппарате, перерабатывающем информацию.

— А вам не кажется, что это звучит оскорбительно? — сказал Виктор.

Зурзмансор, странно покривив лицо, посмотрел на него.

— А, понимаю, — сказал он. — Творец, а не подопытный кролик... Но, видите ли, я сообщил вам только одно обстоятельство, сообщаящее вам ценность в наших глазах. Другие обстоятельства общеизвестны, это правдивая информация об объективной действительности, машина эмоций, средство возбуждения фантазии, удовлетворенные потребности в сопереживании. Собственно, я хотел вам польстить.

— В таком случае, я польщен, — сказал Виктор. — Однако все эти разговоры к написанию пасквилей никакого отношения не имеют. Берется последняя речь господина Президента и переписывается целиком, причем слова «враги свободы» заменяются словами «так называемые мокрецы», или «пациенты кровавого доктора», или «вурдалаки в санатории»... так что мой психический аппарат участвовать в этом деле не будет.

— Это вам только кажется, — возразил Зурзмансор. Вы прочтете эту речь и прежде всего обнаружите, что она безобразна. Стилистически

безобразна, я имею в виду. Вы начнете исправлять стиль, приметесь искать более точные выражения, заработает фантазия, замутит от затхлых слов, захочется сделать слова живыми, заменить казенное вранье животрепещущими фактами, и вы сами не заметите, как начнете писать правду.

— Может быть, — сказал Виктор. — Во всяком случае, писать эту статью мне сейчас не хочется.

— А что-нибудь другое — хочется?

— Да, — сказал Виктор, глядя Зурзмансору в глаза. — Я бы с удовольствием написал, как дети ушли из города. Нового Гаммельнского крысолова.

Зурзмансор удовлетворенно кивнул.

— Прекрасная мысль. Напишите.

Напишите, подумал Виктор с горечью. Мать твою так, а кто это напечатает? Ты, что ли, напечатает?

— Диана, — сказал Виктор. — А нельзя чего-нибудь выпить?

Диана молча поднялась и ушла.

— И еще я с удовольствием написал бы про обреченный город, — сказал Виктор. — И про непонятную возню вокруг лепрозория. И про злых волшебников.

— У вас нет денег? — спросил Зурзмансор.

— Пока есть.

— Имейте в виду, вы, по-видимому, станете лауреатом литературной премии лепрозория за прошлый год. Вы вышли в последний тур вместе с Тусовым, но у Тусова шансов меньше, это очевидно. Так что деньги у вас будут.

— Н-да, — сказал Виктор. — Такого со мной еще не бывало. И много денег?

— Тысячи три. Не помню точно...

Вернулась Диана и все так же молча поставила на стол бутылку и один стакан.

— Еще стакан, — попросил Виктор.

— Я, собственно... Гм...

— Я тоже не буду, — сказала Диана.

— Это за «Беду»? — спросил Виктор, наливая.

— Да. И за «Кошку». Так что месяца на три вы будете обеспечены. Или меньше?

— Месяца на два, — сказал Виктор. — Но не в этом дело... Вот что: я хотел бы побывать у вас в лепрозории.

— Обязательно, — сказал Зурзматор. — Премию вам будут вручать именно там. Только вы разочаруетесь. Чудес не будет. Будет выходной день. Десяток домиков и лечебный корпус.

— Лечебный корпус, — повторил Виктор. — И кого же у вас там лечат?

— Людей, — сказал Зурзматор со странной интонацией. Он усмехнулся и вдруг что-то страшное произошло с его лицом. Правый глаз опустился и съехал к подбородку, рот стал треугольником, а левая щека с ухом отделилась от черепа и повисла. Это длилось одно мгновение. Диана уронила тарелку, Виктор машинально оглянулся, а когда снова уставился на Зурзматора, тот уже был прежний — желтый и вежливый. Тьфу, тьфу, тьфу — мысленно сказал Виктор. Изыди не истый дух. Или показалось? Он торопливо вытащил пачку сигарет, закурил и стал смотреть в стакан. «Братья по разуму» с большим шумом поднялись из-за стола и побрели к выходу, зычно перекликаясь. Зурзматор сказал:

— Вообще, мы хотели бы, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Вам не надо ничего бояться. Вы, наверное, догадываетесь, что наша организация занимает определенное положение и пользуется определенными привилегиями. Мы многое делаем, и за это нам многое разрешается: разрешаются опыты над климатом, разрешается подготовка нашей смены... и

так далее. Не стоит об этом распространяться. Некоторые господа воображают, будто мы работаем на них, ну, и мы их е разубеждаем. — Он помолчал. — Пишите о чем хотите, и как хотите, Банев, не обращайтесь внимания на псов лающих. Если у вас будут трудности с издательствами или денежные затруднения, мы вас поддержим. В крайнем случае мы будем издавать вас сами. Для себя, конечно. Так что ваши миноги будут вам обеспечены.

Виктор выпил и покачал головой.

— Ясно, — сказал он. — Опять меня покупают.

— Если угодно, — сказал Зурзматор. — Главное, чтобы вы осознали: есть контингент читателей, пусть пока не очень многочисленный, который заинтересован в вашей работе. Вы нам нужны, Банев. Причем, вы нам нужны такой, какой вы есть. Нам не нужен Банев — наш союзник и наш певец, поэтому не ломайте себе голову, на чьей вы стороне. Будьте на своей стороне, как и полагается всякой творческой личности. Вот все, что нам от вас нужно.

— Оч-чень, оч-чень льготные условия, — сказал Виктор. — Карт-бланш и штабеля маринованных книг в перспективе. В перспективе и в горчичном соусе. И какая вдова ему б молвила «нет»?.. Слушайте, Зурзматор, вам приходилось когда-нибудь продавать душу и перо?

— Да, конечно, — сказал Зурзматор. — И вы знаете, платили безобразно мало. Но это было тысячу лет назад, и на другой планете. — Он снова помолчал. — Вы неправы, Банев, — сказал он. — Мы не покупаем вас. Мы просто хотим, чтобы вы остались самим собой, мы опасаемся, что вас сомнут. Ведь многих уже смяли... Моральные ценности не продаются, Банев. Их можно разрушить, купить их нельзя. Каждая моральная данная ценность нужна только одной стороне, красть или покупать ее не имеет смысла. Господин Президент считает, что купил живописца Р.Квадригу. Это ошибка. Он купил халтурщика Р.Квадригу, а живописец протек между пальцами и

умер. А мы не хотим, чтобы писатель Банев протек между чьими-то пальцами, пусть даже нашими и умер. Нам нужны художники а не пропагандисты.

Он встал. Виктор тоже поднялся, ощущая неловкость и гордость, недоверие и уважение, разочарование и ответственность, и еще что-то, в чем он пока не мог разобраться.

— Было очень приятно побеседовать, — сказал Зурзмансор. — Желаю успешной работы.

— До свидания, — сказал Виктор.

Зурзмансор коротко поклонился и ушел, вскинув голову, широко и твердо шагая. Виктор смотрел ему вслед.

— Вот за это я тебя и люблю, — сказала Диана. Виктор рухнул на стул и потянулся к бутылке.

— За что? — растерянно спросил он.

— За то, что ты им нужен. За то, что ты, кобель, пьяница, неряха, скандалист, подонок, все-таки нужен таким людям.

Она перегнулась через стол и поцеловала его в щеку. Это была еще одна Диана, Диана Влюбленная — с огромными сухими глазами, Мария из Магдалы, Диана, Смотрящая Снизу Вверх.

— Подумаешь, — пробормотал Виктор. — Интеллектуалы... Новые калифы на час...

Однако это были только слова. На самом деле все было не так просто.

## 10

Виктор вернулся в гостиницу на следующий день после завтрака. На пропитание Диана сунула ему в руку берестяной туесок: Росшеперу прислали из столичной оранжереи полпуда клубники, и Диана здраво рассудила, что Росшеперу, при всей его аномальной прожорливости, с такой массой ягод в одиночку не управиться.

Мрачный швейцар отворил перед Виктором дверь, Виктор угостил его клубникой, швейцар взял несколько ягод, положил их в рот, пожевал, как хлеб и сказал:

— Щенок-то мой, оказывается заводилой у них там был.

— Ну что уж вы так, — сказал Виктор. — Он славный парнишка. Умница и воспитан хорошо.

— Так уж драл я его! — сказал швейцар, приободрившись. — Старался...

— Он снова помрачнел. — Соседи заедают, — сообщил он. — А я что? Я ж не знал ничего...

— Плюньте на соседей, — посоветовал Виктор. — Это же они от зависти. Мальчишка у вас прелесть. Я, например, очень рад, что моя дочка с ним дружит.

— Ха! — сказал швейцар, вновь приободрившись. — Так, может, еще породнимся?

— А что же, — сказал Виктор. — Очень даже может быть. — Он представил себе Бол-Кунаца. — Отчего же...

Посмеялись по этому поводу, пошутили.

— Стрельбы вчера не слышали? — спросил швейцар.

— Нет, — сказал Виктор. — А что?

— А так получилось, — сказал швейцар, — что, значит, когда мы все разошлись, кое-кто, значит, не разошелся, подобрались-таки отчаянные головы, разрезали проволоку и — внутрь. А по ним из пулеметов.

— Вот черт, — сказал Виктор.

— Сам я не видел, — сказал швейцар. — Люди рассказывают. — Он осторожно огляделся по сторонам, поманил к себе Виктора и сказал ему шепотом на ухо: «Тэдди наш там оказался, подранили его. Но ничего, обошлось. Дома сейчас отлеживается».

— Обидно, — пробормотал Виктор, расстроившись.



Он угостил клубникой портье, взял ключ и поднялся к себе. Не раздеваясь, набрал номер Тэдди. Сноха Тэдди сообщила, что все в общем ничего, прострелили ему мякоть, лежит на животе, ругается и сосет водку. Сама же она нынче собирается в Дом Встречи проведать сына. Виктор попросил передать Тэдди привет, пообещал зайти и повесил трубку. Надо было еще позвонить Лоле, но он представил себе этот разговор, упреки, вскрики, и звонить не стал. Снял плащ поглядел на клубнику, спустился на кухню и выпросил бутылочку сливок. Когда он вернулся, в номере сидел Павор.

— Добрый день, — сказал Павор, ослепительно улыбаясь. Виктор подошел к столу, высыпал клубнику в полоскательницу, залил сливками, засыпал сахарным песком и сел.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте, — сказал он мрачно. — Что скажете?

Смотреть на Павора ему не хотелось. Во-первых, Павор был сволочь, а, во-вторых, неприятно, оказывается, смотреть на человека, на которого донес. Даже если он и сволочь, даже если ты донес из самых безукоризненных соображений.

— Слушайте, Виктор, — сказал Павор. — Я готов извиниться. Мы оба вели себя глупо, но я — в особенности. Это все от служебных неприятностей. Искренне прошу извинения. Мне было бы чертовски неприятно, если бы мы с вами рассорились из-за такой ерунды.

Виктор помешал ложечкой в клубнике со сливками и стал есть.

— Ей-богу, до того мне в последнее время не везет, — продолжал Павор, — весь мир обругал бы. И ни сочувствия тебе ни от кого, ни поддержки; бургомистр этот, скотина, завлек меня в грязную историю...

— Господин Сумман, — сказал Виктор. — Перестаньте ваньку валять. Притворяться вы умеете хорошо, но я, к счастью вас раскусил, и наблюдать ваши артистические таланты не доставляет мне никакого удовольствия. Не портите мне аппетит, ступайте себе.

— Виктор, — произнес Павор укоризненно. — Мы же взрослые люди. Нельзя же придавать столько значения застольной болтовне. Неужели же вы вообразили, будто я действительно исповедую ту чушь, которую молот? Мигрень, неприятности, насморк... Ну что вы хотите от человека?

— Я хотел бы, чтобы человек не бил меня со спины кастетом по черепу, — объяснил Виктор. — А если уж бьет, — бывают обстоятельства, — то чтобы не разыгрывал потом друга-приятеля.

— Ах, вот вы о чем, — сказал Павор задумчиво. Лицо у него словно осунулось. — Слушайте, Виктор, я вам все объясню. Это была чистая случайность... Я понятия не имел, что это вы. И потом... Вы же сами говорите, что бывают обстоятельства...

— Господин Сумман, — сказал Виктор, облизывая ложку. — Я всегда недолюбливал людей вашей профессии. Одного я даже застрелил — он был очень смелый в штабе, когда обвинял офицеров в нелояльности, но когда его послали на передовую... В общем, убирайтесь.

Однако Павор не убрался. Он закурил сигарету, положил ногу на ногу и откинулся в кресле. Ну понятно — здоровый мужик, и дзю-до, наверное, знает, и кастет у него есть... Хорошо бы разозлиться сейчас. Что он, в самом деле, мне лакомство портит...

— Я вижу, вы много знаете, — сказал Павор. — Это плохо. Я имею в виду

— для вас. Ну, ладно. Во всяком случае, вы не знаете, что я самым искренним образом уважаю вас и люблю. Ну, не дергайтесь и не делайте вид, что вас тошнит. Я говорю серьезно. Я с удовольствием готов выразить сожаление по поводу инцидента с кастетом. Я даже признаюсь, что знал, кого бью, но мне ничего не оставалось делать. За углом валяется один свидетель, теперь вы приперлись. В общем, единственное, на что я мог бы пойти, это треснуть вас по возможности деликатно, что я и сделал. Приношу самые искренние извинения.

Павор сделал аристократический жест. Виктор смотрел на него с каким-то даже любопытством. Что-то в этой ситуации было свежее, неиспытанное и труднопредставляемое.

— Однако, извиняться за то, что я — работник известного вам департамента, — продолжал Павор, — я не могу, да и не хочу в общем-то. Не воображайте, пожалуйста, будто у нас там собрались сплошные душителы вольной мысли и подонки-карьеристы. Да, я — контрразведчик. Да, работа у меня грязная. Только работа всегда грязная, чистой работы не бывает. Вы в своих рамках изливаете подсознание, либидо свое пресловутое, ну, а я — по-другому... Подробности вам рассказывать не могу, но вы, наверное, сами обо всем догадываетесь. Да, слежу за лепрозорием, ненавижу этих мокрецов, боюсь их, и не только за себя боюсь, за всех боюсь, которые хоть чего-то стоят. За вас, например. Вы же ни черта не понимаете. Вы — вольный художник, эмоционал, ах, ох, — и все разговоры. А речь идет о судьбе системы. Если угодно — о судьбе человечества. Вот вы ругаете господина Президента — диктатор, тиран, дурак... А надвигается такая диктатура, какая вам, вольным художникам и не снилась. Я давеча в ресторане много чепухи наговорил, но главное зерно верно: человек — животное анархическое, и анархия его сожрет, если система не будет достаточно жесткой. Так вот, ваши любезные мокрецы обещают такую жестокость, что места для обыкновенного человека уже не останется. Вы этого не понимаете. Вы думаете, что если человек цитирует Зурзмандора или Гегеля, то это — о! А такой человек смотрит на вас и видит кучу дерьма, ему вас не жалко, потому что вы и по Гегелю дерьмо, и по Зурзмандору тоже дерьмо. Дерьмо по определению. А что за границами этого дерьма-определения — его не интересует. Господин Президент по природной своей ограниченности — ну, облает вас, ну, в крайнем случае, прикажет посадить, а потом к празднику амнистирует от полноты чувств и еще обедать к себе пригласит. А Зурзмандор поглядит на вас в лупу проклассифицирует: дерьмо собачье,

никуда не годное, и вдумчиво, от большого ума, то всеобщей философии, смахнет тряпкой в мусорное ведро и забудет о том, что вы были...

Виктор даже есть перестал. Странное было зрелище, неожиданное. Павор волновался, губы у него подергивались, от лица отлила кровь, он даже задыхался. Он явно верил в то, что говорил, в глазах у него ужасом застыло видение страшного мира. Ну-ну, сказал себе Виктор предостерегающе. Это же враг, мерзавец. Он же актер, он же тебя покупает за ломанный грошик. Он вдруг понял, что насильно отталкивается от Павора. Это же чиновник, не забывай. У него по определению не может быть идейных соображений — начальство приказало, вот он и работает на компот. Прикажут ему защищать мокрецов — будет защищать. Знаю я эту сволочь, видывал...

Павор взял себя в руки и улыбнулся.

— Я знаю, что вы думаете, — сказал он. — По вашей физиономии видно, как вы пытаетесь угадать: чего ко мне этот тип пристал что ему от меня нужно, а вот представьте себе, ничего мне от вас не нужно. Искренне хочу предостеречь вас, искренне хочу, чтобы вы разобрались, чтобы вы выбрали правильную сторону... — Он болезненно оскалился. — Не хочу, чтобы вы стали предателем человечества. Потом спохватитесь — да поздно будет... Я уже не говорю о том, что вам вообще нужно отсюда убраться, я и пришел-то к вам, чтобы настоять на этом. Сейчас наступают тяжелые времена, у начальства приступ служебного рвения, кое-кому намекнули, что, мол, плохо работаете, господа, порядка нет... но это — ладно, это чепуха, об этом мы еще поговорим. Я хочу, чтобы вы в главном разобрались. А главное — это не то, что будет завтра. Завтра они еще будут сидеть у себя за проволокой под охраной этих кретинов... — Он опять оскалился. — А вот пройдет десяток лет...

Виктор так и не узнал, что произойдет через десяток лет. Дверь номера открылась без стука, и вошли двое в одинаковых серых плащах, и Виктор сразу понял, кто это. У него привычно екнуло внутри, и он покорно

поднялся, чувствуя тошноту и бессилие. Но ему сказали «Сядьте», а Павору сказали «Встаньте».

— Павор Сумман, вы арестованы.

Павор, белый, даже какой-то синевато-белый, как обрат, поднялся и хрипло сказал:

— Ордер.

Ему дали посмотреть какую-то бумагу, и пока он глядел в нее невидящими глазами, взяли под локти, вывели и затворили за собой дверь. Виктор остался сидеть, весь обмякнув, глядя в полоскательницу и повторяя про себя: Пусть жрут друг друга, пусть жрут друг друга... Он все ждал, что на улице зашумит машина, стукнут дверцы, но так ничего и не дождался. Потом он закурил, и, чувствуя, что не может больше сидеть здесь, чувствуя, что нужно с кем-то поговорить, как-то рассеяться, или, по крайней мере, выпить с кемнибудь водки, вышел в коридор. Интересно, откуда они узнали, что он у меня. Нет, совсем не интересно. Ничего интересного в этом нет... На лестничной площадке маячил долговязый профессионал. Было так непривычно видеть его одного, что Виктор огляделся — и точно: в углу на диване сидел молодой человек с портфелем и разворачивал газету.

— А, вот он сам, — сказал долговязый. Молодой человек посмотрел на Виктора, поднялся и принялся складывать газету. — Я как раз к вам, — сказал долговязый. — Но раз уж так получилось, пойдемте к нам, там спокойнее.

Виктору было все равно, куда идти, и он покорно поплелся на третий этаж. Долговязый долго отпирал дверь триста двенадцатого номера. У него была целая связка ключей, и он, кажется, перепробовал все; тем временем Виктор и молодой человек в очках стояли рядом, и у молодого человека было скучающее выражение лица, а Виктор думал, что было бы, если бы дать ему сейчас по башке, выхватить портфель, и помчаться по коридору. Потом они вошли в номер, и молодой человек сейчас же ушел в спальню, налево, а

долговязый сказал Виктору: «Одну минуточку», и удалился в спальню направо. Виктор присел за стол красного дерева и стал водить пальцем по шершавым кругам, оставленным на полированной поверхности стаканами и рюмками. Кругов этих было множество, со столом не церемонились и не смотрели, что он красного дерева, на него клали горящие сигареты и, по крайней мере, один раз стряхнули авторучку. Потом и спальни снова вышел молодой человек, на этот раз без портфеля и без пиджака, в домашних шлепанцах, с газетой в одной руке и с полным стаканом в другой. Он сел в свое кресло под торшером, и сейчас же из спальни появился долговязый с подносом, который он тут же поставил на стол. На подносе стояла початая бутылка скотча, стакан и лежала большая квадратная коробка, обтянутая синим сафьяном.

— Сначала формальности, — сказал долговязый. — Хотя нет, подождите, сначала второй стакан. — Он огляделся, взял с письменного столика стаканчик для карандашей, заглянул в него, подул и поставил на поднос. — Итак, формальности, — сказал он.

Он выпрямился, опустил руки по швам и строго выкатил глаза. Молодой человек отложил газету и тоже встал, скучающе глядя в сторону. Тогда Виктор тоже поднялся.

— Виктор Банев! — провозгласил долговязый казенно-возвышенным голосом. — Милостивый государь! От имени и по специальному повелению господина Президента я имею честь вручить вам медаль «Серебряный Трилистник Второй Степени» в награду за особые заслуги, оказанные вами департаменту, который я удостоен здесь представлять!

Он раскрыл синюю коробку, торжественно извлек из нее медаль на белой муаровой ленточке и принялся прищипливать ее к груди Виктора. Молодой человек разразился вежливыми аплодисментами. Потом долговязый вручил Виктору удостоверение и коробку, пожал Виктору руку, отступил на шаг, полюбовался и тоже похлопал в ладоши. Виктор, чувствуя

себя идиотом, тоже похлопал.

— А теперь это надо обмыть, — сказал долговязый.

Все сели. Долговязый разлил виски и взял себе стаканчик для карандашей.

— За кавалера «Трилистника»! — провозгласил он.

Все снова встали, обменялись улыбками, выпили и снова сели. Молодой человек в очках тут же взял газету и закрылся ею.

— Третья степень у вас, кажется, была, — сказал долговязый. — Теперь вам еще первую, и будете полным кавалером. Бесплатный проезд и все такое. За что третью схватили?

— Не помню, — сказал Виктор. — Было там что-то такое, убил, наверное, кого-нибудь... А, помню. Это за Китчиганский плацдарм.

— О! — сказал долговязый и снова разлил виски. — А я вот не воевал. Не успел.

— Вам повезло, — сказал Виктор. Они выпили. — Между нами говоря, не понимаю, за что мне дали эту штуку.

— Я же сказал: за особые услуги.

— За Суммана, что ли? — произнес Виктор, горестно усмехаясь.

— Бросьте! — сказал долговязый. — Вы же важная персона. Вы же там, в кругах... — Он неопределенно помахал пальцем возле уха.

— В каких там кругах... — сказал Виктор.

— Знаем, знаем! — лукаво закричал долговязый. — Все знаем! Генерал Пферд, генерал Пукки, полковник Бамбарха... Вы — молодец.

— В первый раз слышу, — сказал Виктор нервно.

— Начал это дело полковник. Никто, сами понимаете, не возражал — еще бы! Ну, а потом генерал Пферд был на докладе у Президента и подсунул ему представление на вас... — Долговязый засмеялся. — Потеха, говорят была. Старик заорал: «Какой Банев? Куплетист? Ни за что!» Но генерал ему эдак сурово: надо, ваше высокопревосходительство! В общем, обошлось.

Старик растрогался, ладно, говорит, прощаю. Что там у вас с ним случилось?

— Да так, — неохотно сказал Виктор. — О литературе поспорил.

— Вы действительно пишете книжки? — спросил долговязый.

— Да. Как полковник Лоуренс.

— И прилично платят?

— ...

— Надо будет и мне попробовать, — сказал долговязый. — Времени вот только нет свободного. То одно, то другое...

— Да, времени нет, — согласился Виктор. При каждом движении медаль покачивалась и стучала по ребрам. От нее было ощущение, как от горчичника. Хотелось снять, и тогда сразу полегчает.

— Вы знаете, я пойду, — сказал он поднимаясь. — Время.

Долговязый тотчас вскочил.

— Конечно, — сказал он.

— До свидания.

— Честь имею, — сказал долговязый. Молодой человек в очках приспустил газету и поклонился.

Виктор вышел в коридор и сейчас же содрал с себя медаль. У него было сильное желание бросить ее в урну, но он удержался и сунул ее в карман. Он спустился вниз на кухню, взял бутылку джина, а когда шел обратно, портье окликнул его:

— Господин Банев, вам звонил господин бургомистр. Уже два раза. В номере вас не было, и я...

— Что ему нужно? — угрюмо спросил Виктор.

— Он просил, чтобы вы ему немедленно позвонили. Вы сейчас к себе? Если он сейчас позвонит еще раз...

— Пошлите его в задницу... — сказал Виктор. — Я сейчас выключу телефон, и если он будет звонить вам, то так и передайте, господин Банев, кавалер «Трилистника Второй Степени», посылает-де вас, господин



бургомистр, в задницу.

Он заперся в номере, выключил телефон и еще зачем-то прикрыл его подушкой. Затем он сел за стол, налил джину, и, не разбавляя, выпил залпом весь стакан. Джин обжег глотку и пищевод. Тогда он схватил ложку и стал жрать клубнику в сливках, не замечая вкуса, не замечая, что делает. Хватит, и хватит с меня, — думал он. Не нужно мне ничего, ни орденов, ни генералов, ни гонораров, ни подачек ваших, не нужно мне вашего внимания, ни вашей злобы, ни любви вашей, оставьте меня одного, я по горло сыт самим собой, и не впутывайте меня в ваши истории... Он схватил голову руками, чтобы не видеть перед собой бело-синего лица Павора и этих бесцветных безжалостных морд в одинаковых плащах. Генерал Пферд с вами, генерал Баттокс. Генерал Аршман с вашими орденоносными объятиями, и Зурзмансор с отклеивающимся ликом... Он все пытался понять, на что это похоже. Высосал еще пол-стакана и понял, что, корчась, прячется на дно траншеи, а под ним ворочается земля, целые геологические пласты, гигантские массы гранита, базальта, лавы, выгибают друг друга, ломают друг друга, стена от напряжения, вспучиваются, выпячиваются, и между делом, походя, выдавливают его наверх, все выше, выжимают из траншеи, выпирают над бруствером, а времена тяжелые, у властей приступ служебного рвения, намекнули кому-то, что плохо-де работаете, а он — вот он, под бруствером, голенький, глаза руками зажал, а весь на виду. Лечь бы на дно, думал он. Лечь бы на самое дно, чтобы не слышали и не видели. Лечь бы на дно, как подводная лодка, — подумал он и кто-то подсказал ему — чтобы не могли запеленговать. И никому не давать о себе знать. И нет меня, нет. Молчу, разбирайтесь сами. Господи, почему я никак не могу сделаться циником?... Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не могли запеленговать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, — твердил он, — и позывных не передавать. Он уже чувствовал ритм, и сразу заработало: сыт я по горло... до подбородка... и не хочу я ни пить, ни писать. Он налил джину

и выпил. Я не хочу ни петь, ни писать... ох, надоело петь и писать... Где банджо, подумал он. Куда я сунул банджо? Он полез под кровать и вытащил банджо. А мне на вас плевать, подумал он. Ох, до какой степени мне плевать! Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Он ритмично бил по струнам, и в этом сначала пол, потом вся комната, а потом весь мир пошел притоптывать и поводить плечами. Все генералы и полковники, все мокрые люди с отвалившимися лицами, все департаменты безопасности, все президенты и Павор Сумман, которому выкручивали руки и били по морде... Сыт я по горло, до подбородка, даже от песен стал уставать... не стал уставать, уже устал, но «стал уставать» — это хорошо, а значит, это так и есть... лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Подводная лодка... горькая водка... а также молодка, а также наводка, а лагерь не тетка... вот как, вот как...

В дверь уже давно стучали, все громче и громче, и Виктор, наконец, услышал, но не испугался, потому что это был не ТОТ стук. Обыкновенный радующий стук мирного человека, который злится, что ему не открывают. Виктор открыл дверь. Это был Голем.

— Веселитесь, — сказал он. — Павора арестовали.

— Знаю, знаю, — сказал Виктор весело. — Садитесь, слушайте...

Голем не сел, но Виктор все равно ударил по струнам и запел:

Сыт я по горло, до подбородка, Даже от песен стал уставать.

Лечь бы на дно, как подводная лодка, Чтоб не могли запеленговать...

— Дальше я еще не сочинил, — крикнул он. — Дальше будет водка... молодка... лагерь не тетка... А потом — слушайте:

Не помогают ни девки, ни водка, С водки — похмелье, а с девок — что взять?

Лечь бы на дно, как подводная лодка, И позывных не передавать...

Сыт я по горло, сыт я по глотку, О-о-ох, надоело петь и играть!

Лечь бы на дно, как подводная лодка, Чтоб не могли запеленговать...

— Все, — крикнул он и швырнул банджо на кровать. Он чувствовал огромное облегчение, как-будто что-то изменилось, как будто он стал нужен там, над бруствером, на виду у всех, — оторвал руки от зажмуренных глаз и оглядел серое грязное поле, ржавую колючую проволоку, серые мешки, которые раньше были людьми, нужное, бесчестное действие, которое раньше было жизнью, и со всех сторон над бруствером поднялись люди и тоже огляделись, и кто-то снял пале со спускового крючка...

— Завидую, — сказал Голем. — Но не пора ли вам засесть за статью?

— И не подумую, — сказал Виктор. — Вы меня не знаете, Голем, — я на всех плевал. Да садитесь же, черт возьми! Я пьян, и вы тоже напейтесь! Снимайте плащ... Снимайте, я вам говорю! — заорал он. — И садитесь. Вот стакан, пейте! Вы ничего не понимаете, Голем, хоть вы и пророк. И вам не позволю. Не понимать — это моя прерогатива. В этом мире все слишком уж хорошо понимают, что должно быть, что есть и что будет. И большая нехватка в людях, которые не понимают. Вы думаете, почему я представляю ценность? Только потому, что я не понимаю. Передо мной разворачивают перспективы — а я говорю: нет, непонятно. Меня оболванивают теориями, предельно простыми — а я говорю: нет, ничего не понимаю. Вот поэтому я нужен... хотите клубники? Хотя я все съел. Тогда закурим...

Он встал и прошелся по комнате. Голем со стаканом в руке следил за ним, не поворачивая головы.

— Это удивительный парадокс, Голем. Было время, когда я все понимал. Мне было шестнадцать лет, я был старшим рыцарем Легиона, я абсолютно все понимал, и я был никому не нужен! В одной драке мне проломили голову, я месяц пролежал в больнице, и все шло своим чередом — Легион победно двигался вперед без меня, господин Президент неумолимо становился господином Президентом, и опять же без меня. Потом то же самое повторилось на войне. Я офицерил, хватал ордена и при этом, естественно, все понимал. Мне прострелили грудь, я угодил в госпиталь, и

что же — кто-нибудь побеспокоился, где Банев, куда делся наш Банев, наш храбрый, все понимающий Банев? Ни хрена подобного! А вот когда я перестал понимать что бы то ни было — о, тогда все переменялось. Все газеты заметили меня. Куча департаментов заметила меня. Господин Президент лично удостоил... А? Вы представляете, какая это редкость — непонимающий человек! Его знают, о нем пекутся генералы и покой... э-э... полковники, он позарез нужен мокрецам, его почитают личностью, кошмар! За что? А за то, господа, что он ничего не понимает! — Виктор сел. — Я здорово пьян? — спросил он.

— Не без этого, — сказал Голем. — Но это не важно, продолжайте.

Виктор развел руками.

— Все, — сказал он виновато. — Я иссяк. Может быть, вам спеть?

— Спойте, — согласился Голем.

Виктор взял банджо и стал петь. Он спел «Мы — храбрые ребята», потом «Урановые люди», потом «Про пастуха, которому бык выбодал один глаз и который поэтому нарушил государственную границу», потом «Сыт я по горло», потом «Равнодушный город», потом «Про правду и про ложь», потом снова «Сыт я по горло», потом затянул государственный гимн на мотив «Ах, какие ножки у нее», но забыл слова, перепутал строфы и отложил банджо.

— Опять иссяк, — сказал он грустно. — Так, говорите, Павора арестовали? А я это знаю. Он сидел как раз у меня, где вы сидите... А вы знаете, что он хотел сказать, но не успел? Что через десять лет мокрецы овладеют земным шаром и всех нас передавят. Как вы полагаете?

— Вряд ли, — сказал Голем. — Зачем нас давить? Мы сами друг друга передавим.

— А мокрецы?

— Может быть, они не дадут нам передавить друг друга. Трудно сказать.

— А может быть, помогут? — сказал Виктор с пьяным смехом... — А то

ведь мы даже давить не умеем. Десять тысяч лет давим и все никак не передавим... Слушайте, Голем, а зачем вы мне ввали, что вы их лечите? Никакие они не больные, они все здоровые, как мы с вами, только желтые почему-то...

— Гм, — произнес Голем. — Откуда у вас такие сведения? Я этого не знал.

— Ладно, ладно, больше вы меня не обманете. Я говорил с Зурр... с Зу... с Зурзмандором. Он мне все рассказал: секретный институт... Обмотались повязками в целях сохранения... Вы знаете, Голем, они там у вас воображают, будто смогут вертеть генералом Пффердом до бесконечности. А на самом деле — калифы на час. Сожрет он их вместе с повязками и с перчатками, когда проголодается... Фу, черт, как пьян — все плывет...

Но он немного лукавил. Он хорошо видел перед собой толстое сизое лицо и маленькие, непривычно внимательные глазки.

— И Зурзмандор сказал вам, что он здоров?

— Да, — сказал Виктор. — Впрочем, не помню... Скорее всего, нет. Но видно же...

Голем поскреб подбородок краем стакана.

— Жалко, что вы пьяны, — сказал он. — Впрочем, может быть, это хорошо. У меня сегодня хорошее настроение. Хотите, я расскажу вам все, о чем догадываюсь и что думаю о мокрецах?

— Валийте, — согласился Виктор. — Только больше не врите.

— Очковая болезнь, — сказал Голем, — это очень любопытная штука. Вы знаете, кого поражает очковая болезнь? — он замолчал. — Нет, не буду вам ничего рассказывать.

— Бросьте, — сказал Виктор. — Вы уже начали.

— Ну и дурак, что начал, — возразил Голем. Он посмотрел на Виктора и ухмыльнулся. — Задавайте вопросы, — сказал он. — Если вопросы будут глупые, я на них с удовольствием отвечу... Давайте, давайте, а то я опять

раздумаю.

В дверь постучали.

— Идите к черту! — гаркнул Виктор. — Я занят!

— Простите, господин Банев, — сказал робкий голос портье. — Вам звонит супруга.

— Вранье! У меня нет никакой супруги... Впрочем, пардон. Я забыл. Ладно, я ей сейчас позвоню, спасибо. — Он схватил стакан, налил до краев, сунул Голему и сказал: — Пейте и ни о чем не думайте, я сейчас.

Он включил телефон и набрал номер Лолы. Лола говорила очень сухо: извини, что помешала, но я собираюсь ехать к Ирме, не соблаговолишь ли ты присоединиться?

— Нет! — сказал Виктор. — Не соблаговолю. Я занят.

— Все-таки это твоя дочь! Неужели ты опустился до такой степени...

— Я занят! — рявкнул Виктор.

— И тебя не волнует, что с твоей дочерью?

— Перестань валять дурака, — сказал Виктор. — Ты, кажется, хотела избавиться от Ирмы. Ты избавилась. Что тебе еще нужно?

Лола принялась плакать.

— Перестань, — сказал Виктор, морщась. — Ирме там хорошо. Лучше, чем в самом лучшем пансионате. Поезжай и убедись сама...

— Грубый, бездушный, эгоистичный боров, — объявила Лола и повесила трубку. Виктор шепотом выругался, и снова выключил телефон и вернулся к столу.

— Слушайте, Голем, — сказал он, — что вы там делаете с детьми? Если вы там готовите смену, то я не понимаю...

— Какую смену?

— Ну, какую... Вот я спрашиваю: какую?

— Насколько мне известно, — сказал Голем, — дети очень довольны.

— Мало ли что... Я и без вас знаю, что они довольны. Но что они там

делают?

— А разве они вам не говорили?

— Кто?

— Дети.

— Как они мне могли говорить, если я здесь, а они там?

— Они строят новый мир... — сказал Голем.

— А... Да, это они мне говорили. Но это же так, философия. Что вы мне опять врете, Голем? Какой может быть новый мир за колючей проволокой? Новый мир под командованием генерала Пфферда?. А если они там заразятся?

— Чем? — спросил Голем.

— Очковой болезнью, естественно!

— В шестой раз повторяю, что генетические болезни не заразны.

— В шестой, в шестой... — проворчал Виктор, потеряв нить. — А что это такое вообще очковая болезнь?

— Болезнь.

— Что от нее болит? Или, может быть, это секрет?

— Нет, это везде опубликовано.

— Ну, расскажите, — сказал Виктор. — Только без терминов.

— Сначала — изменения кожи. Прыщи, волдыри, особенно на руках и ногах... иногда — гнойные язвы...

— Скажите, Голем, а это вообще важно?

— Для чего?

— Для сути — нет, сказал Голем. — Я думал, вам это интересно.

— Я хочу понять суть! — сказал Виктор проникновенно.

— А сути вы не поймете, — сказал Голем, слегка понизив голос.

— Почему?

— Во-первых, потому что вы пьяны...

— Это еще не причина, — сказал Виктор.

— А, во-вторых, потому что это вообще невозможно объяснить.

— Так не бывает, — заявил Виктор. — Вы просто не хотите говорить. Но я на вас не в обиде. Подписка, разглашение, военный трибунал... Павора вот забрали... Бог с вами. Я только не понимаю, почему ребенок должен строить новый мир в лепрозории. Другого места не нашлось?

— Не нашлось, — ответил Голем. — В лепрозории живут архитекторы. И подрядчики.

— С автоматами, — сказал Виктор. — Видел. Ничего не понимаю. Кто-то из вас врет. Либо вы, либо Зурзматор.

— Конечно, Зурзматор, — хладнокровно сказал Голем.

— А может быть, вы оба врете. А я вам обоим верю, потому что есть в вас что-то... Вы мне только скажите, Голем, чего они хотят? Только честно.

— Счастья, — сказал Голем.

— Для кого? Для себя?

— Не только.

— А за чей счет?

— Для них этот вопрос не имеет смысла, — медленно сказал Голем. — За счет травы, за счет облаков, за счет текущей воды... за счет звезд.

— Совсем как мы, — сказал Виктор.

— Ну, нет, — возразил Голем. — Совсем не так.

— Почему? Мы тоже...

— Нет, потому что мы вытаптываем траву, рассеиваем облака, тормозим воду... Вы меня поняли слишком буквально, а это аналогия.

— Не понимаю, — сказал Виктор.

— Я вас предупреждал. Я сам многое не понимаю, но я догадываюсь.

— А есть кто-нибудь, кто понимает?

— Не знаю. Вряд ли. Может быть, дети... Но даже если они и понимают, то по-своему. Очень по-своему.

Виктор взял банджо и потрогал струны. Пальцы не слушались. Он положил банджо на стол.



— Голем, — сказал он. — Вот вы — коммунист. Какого черта вы делаете в лепрозории? Почему вы не на баррикаде? Почему вы не на митинге? Москва вас не похвалит.

— Я — архитектор, — спокойно сказал Голем.

— Какой вы архитектор, если вы ни черта не понимаете? И вообще, чего вы меня водите за нос? Мы с вами час бьемся, а что вы мне сказали? Жрете джин и напускаете туману. Стыдно, Голем. И врете бесперечь.

— Ну уж и бесперечь, — сказал Голем. — Хотя не без этого. Не бывает у них гнойных язв.

— Дайте сюда стакан, — сказал Виктор. — Уже напились. — Он плеснул из бутылки и выпил. — Черт вас разберет, Голем. Ну зачем вам все это? Если можете рассказывать — рассказывайте, а если это тайна — нечего было начинать.

— Это очень просто объяснить, — благодушно сказал Голем, вытягивая ноги. — Я же пророк, вы меня сами так обзывали. А пророки все в таком положении: знают много, и рассказать им хочется — поделиться с приятным собеседником, похвастаться для придания веса. А когда начинают рассказывать, появляется этакое ощущение неудобства, неловкости... Вот они и зуммерят, как господь бог, когда его спросили насчет камня.

— Как угодно, — сказал Виктор. — Поеду в лепрозорий и узнаю все без вас... А ну, предскажите что-нибудь.

Он с интересом следил, как отнимаются руки и ноги, и думал, что хорошо бы выпить еще стакан для комплекта и завалиться спать, а потом проснуться и поехать к Диане. Все получиться не так плохо. И вообще, все не так уж плохо. Он представил себе, как споет Диане про подводную лодку, и ему стало совсем хорошо. Он взял мокрое весло, которое лежало на корме, и оттолкнулся от берега, и лодка сразу же закачалась. Никакого дождя не было, даже облаков не было, был красный закат, и он поплыл прямо на закат, и весла срывались с верхушек волн. Лечь бы на дно... И он лег бы, но было неловко,

потому что над ухом лениво гудел голос Голема:

— Они очень молоды, у них все впереди, а у нас впереди — только они. Конечно, человек овладеет Вселенной, но это будет не нравственный богатырь с мышцами, и, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя... Природа не обманывает, она выполняет обещания, но не так, как мы думали, и зачастую не так, как нам хотелось бы... Зурзматор, который сидел на носу лодки, повернул голову и стало видно, что у него нет лица, лицо он держал в руках, и лицо смотрело на Виктора — хорошее лицо, честное, но от него тошнило, а Голем все не отставал, все гудел...

— Ложитесь спать, — пробормотал Виктор, растягиваясь на дне лодки. Шпангоуты резали ему бока, и было очень неудобно, но уж очень хотелось спать. — Ложитесь спать, Голем...

## 11

Проснувшись, он обнаружил, что лежит в постели. Было темно, в окно с дробным треском хлестал дождь. Он с трудом поднял руки и протянулся к ночнику, но пальцы наткнулись на холодную гладкую стену. Странно, подумал он. А где Диана? Или здесь не санаторий? Он попробовал облизать губы, толстый шершавый язык не повиновался. Очень хотелось курить, но курить было нельзя ни в коем случае. Ага, собственно, мне хочется пить. «Диана!»

— позвал он. Да здесь же не санаторий. В санатории ночник справа, а здесь справа стена... Так это же мой номер! — подумал он с восторгом. Как я сюда попал? Он лежал под одеялом и был раздет до белья. Что-то я не помню, чтобы раздевался, подумал он. Кто-то меня раздел. Хотя, может быть, я разделся сам... Он потер ногой об ногу. Ага, босой. Черт, руки чешутся, волдыри какие-то, поразвели клопов в номерах. Съеду. Куда это я ехал в лодке? А, это Павор здесь клопов развел... Он вдруг вспомнил о

Паворе и сел, но его замутило, и он лег на спину. Давно я так не надирался, однако. Павор... «Серебряный Трилистник»... Когда это было? Вчера? Он скривился и стал драть ногтями левую руку. Что сейчас — утро или вечер? Наверное, утро... А может быть, вечер. Голем! — вспомнил он. Мы с Големом высосали целую бутылку. И не разбавляли. А до этого пол-бутылки с долговязым. А до этого я еще где-то сосал... Или это бы о вчера? Постой-ка, а сейчас — сегодня или вчера? Встать бы надо, попить, то, се... Нет, подумал он упрямо. Я сначала разберусь.

Что-то Голем рассказывал интересное, он решил, что я пьян, и ничего не понимаю, и можно поэтому говорить со мной откровенно. Впрочем, я действительно был пьян, но, помнится, все понимал. Что я понимал?.. Он яростно потер тыльной стороной правой руки по шерстяному одеялу. Тяжелые времена наступают... Нет, это из Павора... Ага, вот из Голема: у них все впереди, а у нас впереди только они. И генетическая болезнь... А что же, вполне возможно. Когда-нибудь это должно произойти. Может быть, давно происходило. Внутри вида зарождается новый вид, а мы это называем генетической болезнью. Старый вид — для одних условий, новый вид — для других. Раньше нужны были мощные мышцы, плодовитость, морозоустойчивость, агрессивность и, так сказать, практическая сметка. Сейчас, положим, это нужно, но скорее по инерции. Можно успокоить миллион с практической сметкой, и ничего существенного не произойдет. Это уж точно, много раз перепробовано. Кто это сказал, что если из истории вынуть несколько десятков... ну, пусть несколько сотен человек, то мы бы моментально оказались в каменном веке. Ну, пусть несколько тысяч... Что это за люди? Это брат, совсем другие люди.

А вполне возможно: Ньютон, Эйнштейн, Аристотель — мутанты. Среда, конечно, была не слишком благоприятная, и вполне возможно, что масса таких мутантов погибла, не обнаружив себя, как тот мальчишка из рассказа Чапека... Они, конечно, особенные: ни практической сметки у них не было,

ни нормальных человеческих потребностей... Или, может быть, это кажется? Просто духовная сторона так гипертрофирована, что все прочее незаметно. Ну, это ты зря, сказал он. Эйнштейн говорил, что лучше всего работать смотрителем маяка — это уже само по себе звучит... А вообще интересно было бы представить, как в наши дни рождается супер. Хороший сюжет. Черт, руки зудят нестерпимо... Написать бы такую утопию в духе Орвелла или Бернарда Вольфа. Правда трудно представить себе такого супера: огромный лысый череп, хиленькие ручки-ножки, импотент-банальщина. Но вообще что-то в этом роде и должно быть. Во всяком случае, смещение потребностей. Водки не надо, жратвы какой-нибудь особенно не надо, роскоши никакой, да и женщин в общем-то... так только, для спокойствия и вящей сосредоточенности. Идеальный объект для эксплуатации: отдельный ему кабинет, стол, бумагу, кучу книг... аллею для перипатетических размышлений, а взамен он выдает идеи. Никакой утопии не получится — загребут его военные, вот и вся утопия. Сделают секретный институт, всех этих суперов туда свезут, поставят часового, вот и все...

Виктор, кряхтя, поднялся, ступая босыми ногами по холодному полу, прошел в ванну, открыл кран и с наслаждением напился не зажигая света. Страшно было даже думать — зажечь свет. Потом он снова вернулся на кровать и некоторое время чесался, проклиная клопов. Вообще-то, для сюжета это даже хорошо: секретный институт, часовые, шпионы... патриотизм патриотической уборщицы Клары... экая дешевка. Трудность в том, чтобы представить себе их работу, идеи, возможности — куда уж мне... Это вообще невозможно. Шимпанзе не может написать роман о людях. Как я могу написать роман о человеке, у которого никаких потребностей, кроме духовных? Конечно, кое-что представить можно. Атмосферу. Состояние непрерывного творческого экстаза. Ощущение своего всемогущества, независимости... отсутствие комплексов, совершенное бесстрашие. Да, чтобы написать такую штуку, надо нализаться ЛСД. Вообще эмоциональная

сфер супера с точки зрения обычного человека представлялась бы как патология. Болезнь... Жизнь

— болезнь материи, мышление — болезнь жизни. Очковая болезнь, подумал он.

И вдруг все встало на свои места. Так вот что он имел в виду! — подумал Виктор про Голема. Умные и все как на подбор талантливые... Тогда что же это выходит? Тогда выходит, что они уже не люди. Зурзмансор мне просто баки забивал. Значит, началось... Ничего нельзя скрывать, подумал он с удовлетворением. А такую штуку — тем более. Пойду к Голему, нечего ему строить пророка. Они, наверное, многое ему рассказали... Черт подери, это же будущее, то самое будущее, которое запускает щупальца в сердце сегодняшнего дня! У нас впереди — только они... Его охватило лихорадочное возбуждение. Каждая секунда была исторической, и жалко, что он не знал об этом вчера, потому что вчера и позавчера, и неделю назад каждая секунда тоже была исторической.

Он вскочил, зажег свет и, морщась от рези в глазах, стал наощупь искать свою одежду. Одежды не было, но потом глаза привыкли к свету, он схватил брюки, висевшие на спинке кровати, и вдруг увидел свою руку. Рука до локтя была покрыта красной сыпью и мертвенно-белыми бугорками. Некоторые бугорки кровоточили от расчесов. На другой руке было то же самое. Что за черт, подумал он, холодея, потому, что уже знал — что это. Он уже вспомнил: изменения кожи, сыпь, волдыри, иногда гнойные язвы... Гнойных язв пока не было, но он покрылся холодным потом и, уронив брюки, сел на кровать. Не может быть, подумал он. Я тоже. Неужели я тоже?.. Он осторожно погладил ладонью бугорчатую кожу, потом закрыл глаза и, задержав дыхание прислушался к себе. Гулко и редко стучало сердце, в ушах тонко звенела кровь, голова казалась огромной, пустой, не было боли, не было ватной тяжести в мозгу. Дурак, подумал он, улыбаясь. Что я надеюсь заметить? Это должно быть как смерть — секунду назад ты был человеком,

мелькнул квант времени — и ты уже бог, и не знаешь этого, и никогда не узнаешь, как дурак не знает, что он — дурак, как умный, если он действительно умен, не знает, что он — умный... Это, наверное, случилось, пока я спал. Во всяком случае, до того, как я заснул, суть мокрецов была для меня чрезвычайно туманна, а сейчас я вижу все с предельной резкостью постиг это голой логикой, даже не заметив...

Он счастливо засмеялся, ступил на пол, и, хрустнув мышцами, подошел к окну. Мой мир, подумал он, глядя сквозь залитое водой стекло, и стекло исчезло, далеко внизу утонул в дожде замерший в ужасе город, и огромная мокрая страна, а потом все сдвинулось, уплыло, и остался только маленький голубой шарик с длинным голубым хвостом, и он увидел гигантскую чечевицу галактики, косо и мертво висящую в мерцающей бездне, клочья светящейся материи, скрученные силовыми полями, и бездонные провалы там, где не было света, и он протянул руку и погрузил ее в пухлое белое ядро, и ощутил легкое тепло, и когда сжал кулак, материя прошла сквозь пальцы, как мыльная пена. Он снова засмеялся. Щелкнул по носу свое отражение в стекле и нежно погладил бугорки на своей коже.

— По такому поводу необходимо выпить! — сказал он вслух.

В бутылке осталось еще немного джину, бедный старый Голем не смог допить до конца, бедный старый лже-пророк... не потому лже-пророк, что порицания его не верны, а потому, что он всего-навсего говорящая марионетка. Я всегда буду любить тебя, Голем, подумал Виктор, ты хороший человек, ты умный человек, но ты всего лишь человек. Он слил остатки в стакан, привычным движением опрокинул спиртное в глотку и, еще не успев проглотить, бросился в ванную. Его стошнило. Черт, подумал он. Какая мерзость. В зеркале он увидел свое лицо — мятое, слегка обрюзгшее, с неестественно большими неестественно черными глазами. Ну, вот и все, подумал он, ну вот и все, Виктор Банев, пьяница и хвастун. Не пить тебе больше и не орать песен, и не хохотать над глупостями и не молотить веселую

чепуху деревянным языком, не драться, не буйствовать, и не хулиганить, не пугать прохожих, не ругаться с полицией, не ссориться с господином Президентом, не вваливаться в ночные бары с галдящей компанией молодых почитателей... Он вернулся на кровать курить не хотелось. Ничего не хотелось, от всего мутило и стало грустно. Ощущение потери, сначала легкое, чуть заметное, как прикосновение паутины, разрасталось, мрачные ряды колючей проволоки вставали между ним и миром, который он так любил. За все надо платить, думал он, ничего не получают даром, и чем больше ты получил, тем больше нужно платить, за новую жизнь надо платить старой жизнью... Он яростно чесал руки, обдирал кожу и не замечал этого.

Диана вошла, не постучавшись, сбросила плащ и остановилась перед ним, улыбающаяся, соблазнительная, и подняла руки, поправляя волосы.

— Замерзла, — сказала она. — Пустишь погреться?

— Да, — сказал он, плохо понимая, что она говорит.

Она выключила свет, и теперь он не видел ее, только слышал, как ключ повернулся в скважине, треск расстегиваемых кнопок, шорох одежды и как туфля упала на пол, а потом она оказалась рядом, теплая, гладкая, душистая, а он все думал, что теперь всему конец — вечный дождь, угрюмые дома с крышами, как решето, чужие незнакомые люди в мокрой черной одежде, с мокрыми повязками на лицах... и вот они снимают повязки, снимают перчатки, снимают лица и кладут их в специальные шкафчики, а руки их покрыты гнойными язвами — тоска, ужас, одиночество... Диана прижалась к нему, и он привычным движением обнял ее. Она была прежняя, но он-то уже не был прежним, он больше ничего не мог, потому что ему ничего не было нужно.

— Что с тобой, милый? — ласково спросила Диана. — Перебрал?

Он осторожно снял ее руки со своей шеи. Ему стало окончательно страшно.

— Подожди, — сказал он. — Подожди.

Он встал, нащупал выключатель, зажег свет и несколько секунд стоял спиной к ней, не решаясь обернуться, но все-таки обернулся. Нет, она была прекрасна. Она была, наверное, даже красивее, чем обычно, но это было как картина. Это возбуждало гордость за человека, восхищение человеческим совершенством, но больше это ничего не возбуждало. Она смотрела на него, удивленно подняв брови, а потом, видимо, испугалась, потому что вдруг быстро села, и он увидел, что губы ее шевелились. Она что-то говорила, но он не слышал.

— Подожди, — повторил он. — Не может быть. Подожди.

Он быстро с лихорадочной поспешностью одевался и все твердил: подожди, подожди, но он не думал о ней, дело было не только в ней. Он выскочил в коридор, ткнулся в номер Голема, в запертую дверь, не сразу сообразил, куда теперь, а затем сорвался и побежал вниз, в ресторан. Не надо, твердил он, не надо мне этого, я не просил.

Слава богу, Голем был на обычном месте. Он сидел, закинув руку за спинку кресла, и рассматривая на просвет рюмку с коньяком. А доктор Р.Квадрига был красен, агрессивен, и, увидев Виктора, сказал на весь зал:

— Эти мокрецы. Стервы. Прочь.

Виктор рухнул в свое кресло, и Голем, не говоря ни слова, налил ему коньяку.

— Голем, — сказал Виктор. — Ах, Голем, я заразился!

— Спринцевание! — провозгласил Р. Квадрига. — Мне тоже.

— Выпейте коньячку, Виктор, — сказал Голем. — Не надо так волноваться.

— Идите к черту, — сказал Виктор, в ужасе глядя на него. — У меня очковая болезнь. Что делать?

— Хорошо, хорошо, — сказал Голем. — Вы все-таки выпейте. — Он поднял палец и крикнул официанту: — Содовой! И еще коньяку.

— Голем, — сказал Виктор с отчаянием. — Вы не понимаете. Я не могу.



Я заболел, говорю я вам! Заразился! Это нечестно... Я не хотел... Вы же говорили — не заразно...

Он ужаснулся при мысли, что говорит слишком несвязно, что Голем его не понимает и думает, что он просто пьян. Тогда он сунул Голему под нос свои руки. Рюмка опрокинулась, прокатилась по столу и упала на пол.

Голем сначала отшатнулся, потом пригляделся, наклонился вперед, взял руку Виктора за кончики пальцев и стал рассматривать расчесанную бугристую кожу. Пальцы у него были холодны и тверды. Ну вот и все, подумал Виктор, вот и первый врачебный осмотр, а потом будут еще осмотры и лживые обещания, что есть еще надежда, и успокоительные микстуры, а потом он привыкнет, и уже не будет никаких осмотров и его отвезут в лепрозорий, заматают рот черной тряпкой, и все будет кончено.

— Землянику ели? — спросил Голем.

— Да, — покорно сказал Виктор. — Клубнику.

— Слопали небось килограмма два, — сказал Голем.

— При чем здесь земляника? — закричал Виктор, вырывая руки. — Сделайте что-нибудь! Не может быть, чтобы было поздно. Только что началось...

— Перестаньте орать. У вас крапивница. Аллергия. Вам противопоказано жрать клубнику в таких количествах.

Виктор еще не понимал. Разглядывая свои руки, он бормотал: «Вы же сами говорили... волдыри... сыпь...»

— Волдыри и от клопов бывают, — сказал Голем наставительно. — У вас идиосинкразия к некоторым веществам. И воображение не по разуму. Как и у большинства писателей. Тоже туда же — мокрец...

Виктор почувствовал, что оживает. Обошлось, стучало у него в голове. Обошлось, кажется. Если обошлось, я не знаю, что сделаю. Курить брошу...

— А вы не врете? — сказал он жалким голосом.

Голем ухмыльнулся.

— Выпейте же коньячку, — предложил он. — При аллергии нельзя пить коньяк, но вы выпейте. А то у вас уж очень жалкий вид.

Виктор взял его рюмку, зажмурился и выпил. Ничего! Подташнивает немного, но это, надо понимать, с похмелья. Сейчас пройдет. И все прошло.

— Милый писатель, — сказал Голем. — Чтобы стать архитектором, одних волдырей недостаточно.

Подошел официант и поставил на стол коньяк и содовую. Виктор глубоко и вольно вздохнул, вдохнул ресторанный воздух и ощутил прекрасные запахи табачного дыма, маринованного лука, подгоревшего масла и жаренного мяса. Жизнь вернулась.

— Дружище, — сказал он официанту. — Бутылку джина, лимонный сок, лед и четыре порции миног в двести шестнадцатый. И быстро!.. Алкоголики, — сказал он Голему и Р. Квадриге. — Паршивые ресторанные крысы. Пропадайте вы тут пропадом, а я пойду к Диане. — Он готов был расцеловать их.

Голем сказал, ни к кому не обращаясь:

— Бедный прекрасный утенок!

На секунду Виктор ощутил сожаление. Всплыло и исчезло воспоминание о каких-то огромных упущенных возможностях. Но он только рассмеялся, отпихнул кресло и зашагал к выходу.

## 12

Через год после войны поручика Б. демобилизовали по ранению. Ему навесили медаль «Виктория», сунули в зубы месячный оклад денежного содержания и картонный ящик с подарком господина Президента: бутылка трофейного шнапса, две жестянки страсбургского паштета, два круга копченой конской колбасы и трофейные же шелковые подштанники для устройства семейной жизни. Вернувшись в столицу, поручик не унывает. Он — хороший механик, и его в любой момент возьмут работать в

университетские мастерские, откуда он ушел добровольцем, но он не торопится — восстанавливает старые знакомства, заводит новые, а в промежутках пропивает барахло, изъятое у неприятеля в счет репараций. На одной вечеринке он встречается женщину по имени Нора, очень похожую на Диану; описание вечеринки: заезженные довоенные пластинки, денатурат домашней очистки, американская тушенка, шелковые блузки на голое тело и морковь во всех видах. Поручик, звеня медалями, мигом разгоняет разных штатских, неустанно подкладываяющих Норе вареную морковь, и начинает правильную осаду. Нора ведет себя странно. С одной стороны она явно не прочь, но с другой стороны она дает ему понять, что связываться с ней опасно. Однако разгоряченный денатуратом экс-поручик не желает ничего знать. Они покидают вечеринку и отправляются к Норе. Послевоенная столица ночью: редкие фонари, мостовая в выбоинах, огороженные развалины, недостроенный цирк, в котором гниют шесть тысяч пленных под охраной двух инвалидов, в совершенно уже темном переулке кого-то грабят. Нора живет в старинном трехэтажном доме, лестница загажена, на одной двери надпись мелом: «Здесь живет немецкая овчарка». В длинном коридоре, заваленном разным хламом, отшатываются в тень затхлые личности. Нора, гремя многочисленными ключами, отпирает свою дверь с чудом сохранившейся блестящей кожаной обивкой. В прихожей она делает еще одно предупреждение, но Б., полагая, что речь идет всего лишь о какой-нибудь уголовщине, отвечает только, что хаживал на танки в конном строю. Квартирка не по времени чистенькая и уютная, огромный диван, Нора смотрит на поручика с каким-то сожалением, уходит ненадолго и возвращается с початой бутылкой коньяка, одетая в высшей степени соблазнительно. Оказывается, в их распоряжении всего полчаса. По истечении получаса удовлетворенный поручик уходит с надеждой встретится вновь. В конце коридора его уже ждут — два затхлых человека в тени. Неприятно усмехаясь, они загораживают дорогу и предлагают поговорить.

Поручик без лишних слов принимается их бить и одерживает неожиданно легкую победу. Сбитые с ног, затхлые люди, плача и хихикая, разъясняют поручику Б. его положение. Экс-поручик бил своих. Они теперь все свои. Нора не просто соблазнительная женщина, Нора — королева столичных клопов. Вам теперь конец, господин офицер, встретимся в «Атакаме», мы все там встречаемся каждую ночь. Идите домой, а когда вам станет невтерпеж, приходите, у нас открыто до утра...

На западной окраине столицы, в доходном доме рядом с химическим заводом, живет многодетный титулярный советник Б. Нарочито подробное и нарочито скучное описание обстоятельств героя: три комнатки, кухня, прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет, днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма, от ядовитого смрада умирают деревья, желтеет трава, дико и странно мутируют мухи. Несколько лет титулярный советник ведет компанию по укрощению завода: гневные требования в адрес администрации, слезные петиции во все инстанции, разгромные фельетоны во все газеты, бесплодные попытки организовать пикеты у проходной. Однако завод стоит как бастион. На набережной перед заводом замертво падают отравленные часовые,дохнут домашние животные, покидают квартиры и уходят бродяжничать целые семьи, в газетах появляются некрологи на преждевременную кончину директора завода. У титулярного советника Б. умирает жена, дети по очереди заболевают бронхиальной астмой. Однажды вечером, спустившись в подвал за дровами, он обнаруживает там сохранившийся со времен Сопrotивления миномет и огромный запас мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак и открывает слуховое окно. Завод лежит перед ним, как на ладони: в резком свете прожекторных ламп снуют рабочие, бегают вагонетки, плывут желто-зеленые клубы ядовитых паров. «Я тебя убью», — шепчет титулярный советник и открывает огонь. В этот день он не идет на службу, на следующий

день — тоже. Он не спит, не ест, он сидит на корточках под слуховым окном и стреляет. Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабевает, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет: «Я убью тебя». Потом он падает без сил и засыпает, а проснувшись, видит, что мины кончились — осталось три штуки. Он выстреливает их и высовывается в окно, обширный двор завода усеян воронками, зияют выбитые стекла, на боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины, двор перерыт сложной системой траншей, по траншеям короткими перебежками двигаются рабочие, быстрее прежнего бегают вагонетки, водители автокаров защищены железными листами, а когда ветер относит клубы ядовитых паров, на кирпичной стене заводоуправления открывается свежая белая надпись: «Внимание! При обстреле эта сторона наиболее опасна»...

Виктор дочитал последнюю страницу, закурил и поглядел на листок, заправленный в машинку. Там было всего полторы строчки: «Выйдя из редакции, журналист Б. хотел было взять такси, но передумал и спустился в подземку». Виктор совершенно точно знал, что случилось затем с журналистом Б. Но писать больше не мог. Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице черным-черно, и в черноте сверкал дождь. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окурочек в мокрую ночь и позвонил портье. Виктор осведомился, какой сегодня день недели. Незнакомый голос, помедлив, сообщил, что сейчас ночь с пятницы на субботу. Виктор поморгал, положил трубку и решительно выдернул листок из машинки. Хватит. Двое суток подряд, не разгибаясь, никого не видя, ни с кем не разговаривая, выключив телефон, не отвечая на стук, без Дианы, без выпивки, кажется, даже без еды, только время от времени забираясь на кровать, чтобы увидеть во сне королеву клопов, как она сидит у притолоки и шевелит черными усиками... Хватит. Журналист Б. подождет на платформе, пока подойдет поезд с надписью «Посадки нет». Ничего с ним не делается.

А мы пока закусим, мы это заслужили, ей-богу... Виктор убрал машинку, спрятал в стол рукопись и пошарил в пустом баре. Потом он жевал черствую булку с джемом и горько сетовал на то, что вылил пол-бутылки бренди в раковину во избежание соблазна, и радовался, что цикл «За кулисами большого города» все-таки начат, и начат неплохо, прекрасно начат, вполне удовлетворительно. Хотя, наверное, придется все переписать. Странно все-таки, подумал он, почему эти рассказы пошли именно сейчас? Почему не год назад, не два года назад, когда я их придумал? Сейчас я должен был бы писать о ханурике, вообразившем себя суперменом, вот о чем. Я ведь начал с этого. Впрочем, такое со мной не в первый раз. А если подумать и хорошенько вспомнить, то так бывает всегда. И именно поэтому невозможно писать по заказу. Начинаешь писать роман о юных годах господина Президента, а получается про необитаемый остров, где живут странные обезьяны, которые питаются не бананами, а мыслями потерпевших кораблекрушение... Ну, здесь, положим, связь на поверхности. Э, да чего там, всегда она есть. Надо только покопаться, а кому охота копаться, если хочется выпить после двухдневного воздержания. Спустишь-ка я сейчас вниз, у портье всегда найдется выпить. Дожду вот сейчас и спущусь...

Виктор вздрогнул и перестал жевать. Из черного провала за окном сквозь плеск дождя донесся звук: как будто ударили молотком по доске. Стреляют, с удивлением подумал Виктор. Некоторое время он напряженно прислушивался.

...Ну, хорошо, а что автор хотел сказать этим своим сочинением? Зачем ему понадобилось воскрешать тяжелые послевоенные времена, когда кое-где еще встречались клопы и легкомысленные женщины? Может быть, автор хотел показать героизм и стойкость столицы, которая под предводительством его Высокопревосходительства... Не выйдет, господин Банев! Не позволим! Весь мир знает, что по прямому указанию господина Президента на владельцев химических предприятий, загрязняющих воздух только в столице

наложен штраф в размере... Что благодаря личной и неусыпной заботе господина Президента более ста тысяч детей столицы ежегодно выезжают в загородные лагеря... что согласно табелю о рангах чины ниже надворных советников не имеют права собирать подписи под петициями...

Тут свет погас. «Эге!» — сказал Виктор вслух, и лампа загорелась снова, но вполнакала. «Эт-то еще что?» — произнес Виктор, однако светлей не стало. Виктор подождал немного, потом позвонил портье. Никто не отозвался. Можно позвонить на электростанцию, но для этого надо найти телефонную книгу, а где ее искать, и все равно пора ложиться. Только сначала надо выпить. Виктор поднялся и вдруг услышал какой-то шорох. Кто-то возил по двери руками. Потом в дверь начали толкаться. «Кто там?» — спросил Виктор, но ему не ответили, слышно было только, как толкаются и сопят. Виктору стало жутко. Озаренные красноватым полусветом стены казались чужими и непривычными, в углах сгустилось слишком много тени, а за дверью возилось что-то большое, тупое и бессмысленное... Чем бы его? — подумал Виктор, озираясь, но тут за дверью сказали сиплым шепотом: «Банев, эй, Банев, ты здесь?» Отпустив вполголоса «идиот», Виктор вышел в прихожую и повернул ключ. В номер ввалился Р. Квадрига. Он был в халате, волосы у него были всклокочены, глаза бегали.

— Слава богу, что хоть ты на месте, — сразу же заговорил он. — А то я совсем со страху спятил... Слушай, Банев, надо удирать... Пойдем, а? Пойдем отсюда, Банев... — Он схватил Виктора за рубашку и потянул в коридор. — Пойдем, невозможно больше...

— Обалдел, — сказал Виктор, вырываясь. — Иди спать, рамолик. Три часа.

Но Квадрига снова ловко ухватил его за рубашку, и Виктор с удивлением обнаружил, что доктор гонорис кауза совершенно трезв, от него даже не пахло.

— Нельзя спать, — сказал Квадрига. — Из этого проклятого дома надо

удирать. Видишь, что со светом? Мы здесь погибнем... И вообще из города надо удирать. У меня на вилле машина. Пошли. Я бы один уехал, да боюсь выйти...

— Погоди, не хватайся, — сказал Виктор. — Успокойся сначала.

Он втащил Квадригу в номер, усадил в кресло, а сам побежал в ванную за стаканом воды. Квадрига сейчас же вскочил и побежал за ним.

— Мы здесь с тобой одни, никого не осталось, — сказал он. — Голема нет, швейцара нет, директора нет...

Виктор открыл кран. В трубах заворчало, вылилось несколько капель.

— Тебе что, сказал Квадрига, — воды нужно? Пойдем, у меня есть целая бутылка. Только быстрее. И вместе.

Виктор потряс кран. Вылилось еще несколько капель, и ворчание прекратилось.

— В чем дело? — спросил Виктор, холодея. — Война?

Квадрига махнул рукой.

— Да какая война... Удирать надо, пока не поздно, а он «война».

— Почему — удирать?

— По дороге, — сказал Квадрига, идиотски хихикнув.

Виктор отодвинул его локтем, вышел из номера и направился вниз, к портье. Квадрига семенил следом.

— Слушай, — бормотал он. — Давай через черный ход... Только бы уйти, а там у меня машина. Уже заправлена, погружена... Я как чувствовал, ей-богу... Водочки выпьем и поедем, а то здесь водочки не осталось...

В коридоре тускло, как красные карлики, светились плафоны, на лестнице света не было вообще, в вестибюле — тоже, только над конторкой портье тлела лампочка. Там кто-то сидел, но это был не портье.

— Пойдем, пойдем, — сказал Квадрига и потянул Виктора к выходу. — Туда не надо, там нехорошо...

Виктор высвободился и подошел к конторке.



— Что у вас тут за безобразие... — начал он и замолчал. За конторкой сидел Зурзмандор и быстро писал в толстой тетради.

— Банев, — сказал он не поднимая головы. — Вот и все, Банев. Прощайте. И не забывайте наш разговор.

— А я не собираюсь уезжать, — возразил Виктор. Голос у него сорвался.

— Я намерен узнать, что делается с электричеством и водой. Это ваша работа?

Зурзмандор поднял желтое лицо.

— Нет, — сказал он. — Больше мы не работаем. Прощайте, Банев. — Он протянул через конторку руку в перчатке. Виктор машинально взял эту руку, ощутил пожатие и пожал сам. — Такова жизнь, — сказал Зурзмандор. — Будущее создается тобой, но не для тебя. Вы, кажется, это уже поняли. Или скоро поймете. Это вас касается больше, чем нас. Прощайте.

Он кивнул и снова принялся писать.

— Пойдем! — прошипел над ухом Квадрига.

— Ничего не понимаю, — громко, на весь вестибюль произнес Виктор. — Что здесь происходит?

Он не желал, чтобы в вестибюле было тихо. Он не желал ощущать себя здесь посторонним. Не он здесь посторонний, и нечего Зурзмандору сидеть в три часа ночи за конторкой портье. И нечего меня запугивать, я вам не Квадрига... Но Зурзмандор не услышал или не захотел услышать. Тогда Виктор демонстративно пожал плечами и направился в ресторан. В дверях он остановился.

В зале тускло светились торшеры, тускло светилась люстра, тускло светились рожки на стенах, и зал был полон. За столиками сидели мокрецы. Они все были одинаковые, только сидели в разных позах. Одни читали, другие спали, а многие, словно окоченев, неподвижно смотрели в пространство. Светлели голые черепа, пахло сыростью и медикаментами. Окна были распахнуты, на полу темнела вода. Не было слышно ни звука,

только плеск дождя доносился снаружи...

Потом перед Виктором появился Голем, напряженный, озабоченный, совсем старый.

— Почему вы еще здесь? — спросил он вполголоса. — Уходите, здесь нельзя.

— Что значит — нельзя? — сказал Виктор, снова раздражаясь. — Я хочу выпить.

— Тише, — сказал Голем. — Я думал, вы уже уехали. Я стучал к вам. Куда вы сейчас?

— К себе в номер. Возьму бутылку и пойду к себе в номер.

— Здесь нет спиртного, — сказал Голем.

Виктор молча показал пальцем на бар, где тускло блестели ряды бутылок. Голем оглянулся.

— Нет, — сказал он. — Увы.

— Я хочу пить! — повторил Виктор упрямым голосом.

Но он не ощущал в себе упрямства. Он хорохорился. Мокрецы смотрели на него. Читающие опустили книги, окаменевшие повернули черепа, и только спавшие продолжали спать. Десятки блестящих глаз словно бы повисших в красноватом сумраке, смотрели на него.

— Не ходите в номер, — сказал Голем. Уходите из гостиницы. К Лоле... Или к доктору на виллу... Только чтобы я знал, где вы сейчас находитесь. Я за вами заеду... Слушайте, Виктор, не ерепеньтесь, делайте, как я говорю. Рассказывать сейчас некогда и непристойно. Жалко, Дианы нет, она бы подтвердила...

— А где Диана?

Голем опять оглянулся и посмотрел на часы.

— В четыре часа... или в пять... она будет на автостанции у Солнечных ворот.

— А где она сейчас?

— Сейчас она занята.

— Так, — сказал Виктор и тоже посмотрел на часы. — В четыре или в пять у Солнечных ворот. — Ему очень хотелось уйти. Невыносимо было стоять вот так, в фокусе внимания этого тихого сборища.

— Может быть, в шесть, — сказал Голем.

— У Солнечных ворот... — повторил Виктор. — Это там, где вилла вашего доктора...

— Вот-вот, — сказал Голем. — Отправляйтесь на виллу и там ждите.

— По-моему, вы просто хотите меня выпроводить, — сказал Виктор.

— Да, — сказал Голем. Он вдруг с интересом уставился Виктору в лицо.

— Виктуар, неужели вам совсем-совсем не хочется отсюда убратсья?

— Мне хочется спать, — небрежно сказал Виктор. — Я две ночи не спал.

— Он взял Голема за пуговицу и вывел в вестибюль. — Ладно, я уеду, — сказал он. — Но что это за паноптикум? У вас здесь съезд?

— Да, — сказал Голем.

— Или вы подняли восстание?

— Да, — сказал Голем.

— А может быть, война началась?

— Да, — сказал Голем. — Да, да, да, да. Убирайтесь отсюда.

— Ладно, — сказал Виктор. Он повернулся, чтобы идти, но остановился.

— А Диана? — спросил он.

— Ей ничего не грозит, — сказал Голем. — И мне тоже. Никому из нас ничего не грозит. Во всяком случае, до шести. Может быть, до семи.

— Вы мне отвечаете за Диану, — сказал Виктор тихо.

Голем вынул носовой платок и вытер шею.

— Я отвечаю за все, — сказал он.

— Да? Я бы предпочел, чтобы вы отвечали только за Диану.

— Вы мне надоели, — сказал Голем. — Ох, как вы мне надоели,

прекрасный утенок. Диана с детьми. Диане абсолютно ничего не грозит. И уходите. Мне надо работать.

Виктор повернулся и пошел к лестнице. Зурзмансора за конторкой не было, только тлела лампочка над толстой клеенчатой тетрадью.

— Банев, — позвал Р. Квадрига из какого-то темного угла. — Куда ты? Пойдем!

— Не могу же я тащиться под дождем в шлепанцах? — сердито отозвался Виктор, не оборачиваясь. Выперли, думал он. Из гостиницы они нас выперли. А может быть, из ратуши они нас тоже выперли. И может быть, из города... А дальше что?

У себя в номере он быстро переоделся и натянул плащ. Квадрига неотступно путался под ногами.

— Так и пойдешь в халате? — спросил Виктор.

— Он теплый, — сказал Квадрига. — А дома еще есть.

— Болван, иди оденься.

— Не пойду, — твердо сказал Квадрига.

— Пойдем вместе, — предложил Виктор.

— Нет. И вместе не надо. Да ты не бойся, я так... Я привык...

Квадрига был как пудель, рвущийся гулять. Он подпрыгнул, заглядывая в глаза, громко дышал, тянул за одежду, подбегал к двери и возвращался. Убеждать его было бесполезно. Виктор сунул ему свой старый плащ и задумался. Он вынул из стола документы и деньги, рассовал их по карманам, закрыл окно и погасил свет. Затем он отдался на волю Квадриге.

Доктор гонорис кауза, нагнув голову, стремительно протащил его через коридор, по служебной лестнице, мимо темной холодной кухни, выпихнул его в дверь под проливной дождь в кромешную темноту и выскочил следом.

— Слава богу, выбрались, — сказал он. — Бежим!

Но бегать он не умел. Его одолевала одышка, да и темно было так, что идти приходилось почти наощупь, держась за стены. Разве только общее

направление можно было угадывать по уличным фонарям, горевшим вполнакала, да кое-где сквозь щели в занавесках просачивался красноватый свет. Дождь сыпал без передышки, но улицы не были совершенно пустынные; кто-то переговаривался вполголоса, мяукал грудной младенец, пару раз проезжали тяжелые грузовики, какая то телега прогремела железными ободьями по асфальту. «Все бегут, — бормотал Квадрига. — Все удирают. Одни мы тащимся...» Виктор молчал. Под ногами хлюпало, туфли промокли, по лицу ползла мутноватая вода. Квадрига цеплялся как клещ, все это было гадко, бездарно, и тащиться предстояло через весь город, и конца этому не было видно. Он налетел на водосточную трубу, что-то хрустнуло, Квадрига оторвался и сейчас же плачуще заорал на весь город: «Банев! Где ты?» Пока они шарили в мокрой темноте, ища друг друга, над головами хлопнуло окошко, придушенный голос осведомился: «Ну, что слышно?» «Темно, так и не так...»

— ответил Виктор. «Точно! — с энтузиазмом подхватил голос. — И воды нет... Хорошо, мы корыто успели набрать.» «А что будет?» — спросил Виктор, придерживая Квадригу, рвущегося вперед. После некоторого молчания голос произнес: «Эвакуацию объявят, не иначе... Эх, жизнь!» И окошко захлопнулось. Поттащились дальше. Квадрига, держась за Виктора обеими руками, принялся сбивчиво рассказывать, как он проснулся от ужаса, спустился вниз и увидел там этот шабаш... Налетели впотьмах на грузовик, ощупью обогнули его и налетели на человека с каким-то грузом. Квадрига опять заорал. «В чем дело?» — свирепо спросил Виктор. «Дерется, — обиженно сообщил Квадрига. — Прямо по печени. Ящиком». На тротуарах оказывались наперекосяк поставленные автомобили, холодильники, буфеты, целые заросли растений в горшках, Квадригу занесло в открытый зеркальный шкаф, потом он запутался в велосипеде. Виктор медленно стервенел. На каком-то углу их остановили, осветив фонариком. Блеснули мокрые солдатские каски, грубый голос с южным выговором объявил: «Военный

патруль. Предъявите документы.» У Квадриги документов, естественно, не было, и он немедленно стал кричать, что он доктор, что он лауреат, что он лично знаком... Грубый голос презрительно сказал: «Шпаки. Пропустить». Пересекли городскую площадь. Перед полицейским управлением сгрудились автомобили с зажженными фарами. Бессмысленно метались золоторубашечники, сверкая медью своих пожарных шлемов, раздавались зычные неразборчивые команды. Видно было, что центр паники здесь. Отсветы фар еще некоторое время озаряли дорогу, затем снова стало темно.

Квадрига больше не бормотал, а только пыхтел и постанывал. Несколько раз он падал, увлекая за собой Виктора. Они извозились как свиньи. Виктор совершенно отупел и больше не ругался, пелена покорной апатии обволокла мозг, надо было идти, отпихивать невидимых встречных, снова и снова поднимать Квадригу за ворот разбухшего халата, нельзя было только останавливаться и ни в коем случае нельзя было идти назад. Что-то вспомнилось ему, что-то давно бы шее, позорное, горькое, неправдоподобное, только тогда было зарево и людская каша на улицах, и вдали дома с окнами, заклеенные крест-накрест, и в лицо летел пепел, и вонь горелой бумаги, а на крыльцо красивого особняка с огромным национальным флагом вышел высокий полковник в роскошной лейб-гусарской форме, снял фуражку и застрелился, а мы ободранные, окровавленные, проданные, преданные, тоже в гусарской форме, но уже не гусары, а почти дезертиры засвистели, заржали, заулюлюкали, и кто-то запустил в труп полковника обломок своей сабли...

— А ну, стой! — шепотом сказали из темноты и уперлись в грудь чем-то знакомым. Виктор машинально поднял руки.

— Как вы смее! — взвизгнул Квадрига у него за спиной.

— А, ну, тихо, — сказал голос.

— Караул! — заорал Квадрига.

— Тише, дурак, — сказал ему Виктор. — Сдаюсь, сдаюсь, — сказал он в

темноту, откуда упирались в грудь стволом автомата и тяжело дышали.

— Стрелять буду! — испуганно предупредил голос.

— Не надо, — сказал Виктор. — Мы же сдаемся. — В горле у него пересохло.

— А ну, раздевайся! — скомандовал голос.

— То-есть как?

— Ботинки снимай, плащ снимай, штаны...

— Зачем?

— Быстро, быстро! — прошипел голос.

Виктор присмотрелся, опустил руки, шагнул в сторону и, ухватившись за автомат, задрал ствол вверх. Грабитель пискнул, рванулся, но почему-то не выстрелил. Оба натужно кряхтели, выворачивая друг у друга оружие. «Банев! Где ты?» — в отчаянии вопил Квадрига. Наощупь и по запаху человек с автоматом был солдат. Некоторое время он рыпался, но Виктор был гораздо сильнее.

— Все, — сказал Виктор сквозь зубы. — Все... Не дергайся, а то по морде получишь.

— А вы пустите! — прошипел солдат, слабо сопротивляясь.

— Тебе зачем мои штаны? Ты кто такой?

Солдат только пыхтел. «Виктор! — вопил Квадрига уже где-то вдалеке. — А-а-а!» Из-за угла вывернула машина, осветила на секунду фарами знакомое веснушчатое лицо, круглые от страха глаза под каской и умчалась.

— Э, а я ведь тебя знаю, — сказал Виктор. — Ты что же людей грабишь? Отдай автомат.

Солдат, цепляясь каской, покорно вылез из ремня.

— Так зачем тебе мои штаны? — спросил Виктор. — Дезертируешь?

Солдат сопел. Симпатичный такой солдатик, веснушчатый.

— Ну, чего молчишь?

Солдатик заплакал — тоненько с подвыванием.

— Все равно мне теперь... — забормотал он. — Все равно расстрел. С поста я ушел. Убежал я с поста, пост бросил, куда мне теперь деваться... Отпустили бы меня, сударь, а? Я же не со зла, не злодей ведь я какой-нибудь, не выдавайте, а?

Он хлюпал и сморкался, и в темноте, вероятно, утирал сопли рукавом шинели, жалкий, как все дезертиры, напуганный, как все дезертиры, готовый на все.

— Ладно, сказал Виктор. — Пойдешь с нами. Не выдадим. Одежда найдется. Пошли, только не отставай.

Он пошел вперед, а солдатик потащился за ним, все еще всхлипывая.

По собачьему вою нашли Квадригу. Теперь у Виктора на шее висел автомат, за левую его руку судорожно цеплялся всхлипывающий солдатик, за правую — тихо завывающий Квадрига. Бред какой-то. Можно, конечно, вернуть разряженный автомат этому мальчишке и дать сопляку пинка. Нет, жалко. Сопляка жалко, и автомат, возможно, еще пригодится... Мы тут посоветовались с народом, и есть мнение, что разоружаться преждевременно. Автомат еще может пригодиться в грядущих боях...

— Перестаньте ныть, вы, оба, — сказал Виктор. — Патрули сбегутся.

Они притихли, а через пять минут, когда впереди забрезжили тусклые огни автостанции, Квадрига потянул Виктора направо, радостно бормоча: «Пришли, слава тебе господи...»

Ключ от калитки Квадрига, конечно, забыл в гостинице, в брюках. Чертыхаясь перелезли через ограду, чертыхаясь путались некоторое время в мокрой сирени, чуть не упали в фонтан, добрались, наконец, до подъезда. Вышибли дверь и ввалились в холл. Щелкнул выключатель и холл озарился багровым полусветом. Виктор повалился в ближайшее кресло. Пока Квадрига бегал по дому в поисках полотенец и сухой одежды, солдатик живо разделся до белья, смотал обмундирование в узел и засунул его под диван. После этого он несколько успокоился и перестал всхлипывать. Потом



вернулся Квадрига, и они долго и ожесточенно растирались полотенцами и переодевались.

В холле царил хаос. Все было перевернуто, разбросано, заслякощено: книги валялись вперемешку с пыльным бельем и свернутыми холстами, под ногами хрустело стекло, валялись сморщенные тюбики из-под красок, телевизор смотрел пустым прямоугольником экрана, а стол был заставлен грязной посудой с тухлыми объедками. В общем, только что не было навалено в углах, а может быть и было навалено — в темноте не разберешь. Запах в доме стоял такой, что Виктор не вытерпел и распахнул окно.

Квадрига принялся хозяйничать. Сначала он взялся за край стола, наклонил его и с дребезгом ссыпал все на пол. Затем он вытер стол мокрым халатом, сбегал куда-то, принес три хрустальных бокала антикварной красоты и две квадратных бутылки. Подмигивая от нетерпения, он вытащил пробки и наполнил бокалы.

— Будем здоровы... — неразборчиво пробормотал он, схватил свой бокал и жадно приник к нему, заранее закатывая глаза от наслаждения. Виктор, снисходительно усмехаясь, смотрел на него, разминая сигарету. На лице Квадриги изобразилось вдруг неопишемое изумление пополам с обидой.

— И здесь тоже... — проговорил он с отвращением.

— Что такое? — спросил Виктор.

— Вода, — робко подал голос солдатик. — Как есть вода. Холодная.

Виктор отхлебнул из своего бокала. Да, это была вода, чистая, холодная, возможно даже дистиллированная.

— Ты чем нас поишь, Квадрига? — спросил он.

Квадрига, не говоря ни слова, схватил вторую бутылку и сделал глоток. Лицо его исказилось. Он сплюнул, сказал: «Боже мой!», пригнулся и на цыпочках вышел из комнаты. Солдатик опять всхлипнул. Виктор посмотрел на бутылочные этикетки: ром, виски. Он снова отхлебнул из бокала: вода.

Запахло обыкновенной чертовщиной, сами собой скрипнули где-то половицы, кожа на спине съежилась под пристальным взглядом чьих-то глаз. Солдатик ушел с головой в воротник огромного Квадригиного свитера и засунул руки глубоко в рукава. Глаза у него были круглые, он не отрываясь смотрел на Виктора. Виктор спросил хрипло:

— Ну, чего уставился?

— А вы чего? — шепотом спросил солдатик.

— Я-то ничего, а ты вот что тарачишься?

— Так, а чего вы... Страшно как-то... Не надо так...

Спокойствие, сказал себе Виктор. Ничего страшного. Это же суперы. Суперы еще и не то могут. Они, брат, все могут. Воду в вино, а вино в воду. Сидят себе в ресторане и превращают. Основу подрывают, краеугольный камень... Трезвенники, мать их...

— Струсил? — сказал он солдатику. — Засранец ты.

— Так страшно! — сказал солдатик, оживившись. — Вам то что, а я там натерпелся... Стоишь на посту ночью, а он вылетит из зоны, глянет на тебя сверху вниз и дальше... Капрал у нас один даже запачкался... Капитан все говорил: привыкнете, мол, служба, мол, присяга, мол... Ни фиги не возможно привыкнуть. Давеча вот один приятель сел на крышу караулки и смотрит... а глаза-то ведь не человечесьи, красные, светятся, и серой от него ну прямо так и несет... — Солдатик вынул руки из рукавов и перекрестился.

Из недр виллы вновь появился Квадрига, все так же пригнувшись и на цыпочках.

— Одна вода, — сказал он. — Виктор, давай удирать. Машина стоит в гараже, заправленная, сядем и — ах! А?

— Не паникуй, — сказал Виктор. — Удрать всегда успеем... А впрочем, как хочешь. Я сейчас не поеду, а ты валяй, и парнишку прихватишь.

— Нет, — сказал Квадрига. — Без тебя я не поеду.

— А тогда перестань трястись и принеси что-нибудь пожрать. —

Приказал Виктор. — Хлеб у тебя в камень еще не превратился?

Хлеб в камень не превратился. Консервы тоже остались консервами, и неплохими консервами. Они ели, и солдатик рассказывал, какого страха он натерпелся за последние два дня, про летающих мокрецов, про нашествие дождевых червей, про ребятишек, которые за два дня стали взрослыми, про друга своего, рядового Крупмана, парнишечку двадцати лет, который со страху сделал себе самострел... И еще как обед в караулку принесли, поставили разогревать, два часа обед на плите стоял, так и не разогрелся, холодным съели... А нынче заступил на пост, в восемь часов вечера, дождь кромешный с градом, над зоной — неположенные огни, музыка раздается нечеловеческая, и какой-то голос все говорит и говорит, говорит и говорит, а что говорит — не понять ни слова. А потом из степи крутящиеся вышки, столбы — в зону. И только они в зону зашли, как отворяются ворота, и вылетает из зоны господин капитан на своей машине. Я на караул не успел взять, вижу только, что господин капитан — на заднем сидении, без фуражки, без плаща — лупит шофера в шею и орет: «Давай, сукин сын! — орет. — Давай!» Оторвалось что-то внутри у меня, и словно мне кто сказал: беги, говорит, рви когти, а то костей не соберешь. Ну, я и рванул. Да не по дороге, а напрямик, через степь, через овраги, чуть в болоте не завяз, накидку где-то оставил, новую, вчера выдали, но к городу вышел, а городе патрули. Раз я от них еле ушел, второй раз еле ушел, добрался досюда вот, до автостанции, смотрю — гражданских там пускают, а нашего брата — шиш, пропуск требуют. Ну, я и решился...

Рассказав свою историю, солдатик свернулся в кресле и тут же заснул. Мучительно трезвый Квадрига снова принялся твердить, что надо удирать и немедленно. «Вот же человек, — твердил он, тыча вилкой в сторону заснувшего воина. — Понимает же человек... А ты дубина, Банев, непробиваемый дубина. Как ты не чувствуешь, я просто физически ощущаю, как на меня с севера давит... Ты поверь мне... Я знаю, ты мне не веришь, но

сейчас поверь, я ведь давно вам говорю: нельзя здесь оставаться. Голем тебе голову заморочил, пьяница носатая... Ты пойми, сейчас дорога свободная, все ждут рассвета, а потом все мосты забьют, как в сороковом... Дубина ты упрямая, Банев, и всегда был такой, и в гимназии ты такой был...»

Виктор велел ему спать или убраться к черту. Квадрига надулся, доел консервы и забрался на диван, закутавшись в махровое одеяло. Некоторое время он ворочался, кряхтел, бормотал апокалиптические предупреждения, потом затих. Было четыре часа.

В четыре десять свет мигнул и погас совсем. Виктор вытянулся на кресле, укрылся каким-то сухим тряпьем и лежал тихо, глядя в темное окно и прислушиваясь. Постанывал солдатик во сне, всхлипывал намаявшийся доктор гонорис кауза. Где-то, наверное на автостанции, взрывали двигатели, неразборчиво кричали голоса. Виктор попытался разобраться в происходящем и пришел к выводу, что мокрецы рассорились-таки с генералом Пфердом, выперли его из лепрозория, легкомысленно перенесли свою резиденцию в город и воображают, что раз умеют превращать вино в воду и наводить на людей ужас, то смогут продержаться против современной армии... да что там — против современной полиции. Идиоты. Разрушат город, сами погибнут, людей оставят без крова. И дети... Детей же загубят, сволочи! А зачем? Что им надо? Неужели опять драка за власть? Эх, вы, а еще суперы. Тоже мне — умные, талантливые... Та же дрянь, что и мы. Еще один новый порядок, а чем порядок новее, тем хуже — это уж известно. Ирма... Диана... Он встрепенулся, нащупал в темноте телефон, снял трубку. Телефон молчал. Опять они что-то не поделили, а мы, которым не надо ни тех, ни других, а надо, чтобы нас оставили в покое, мы опять должны срываться с места, топтать друг друга, бежать, спасаться, или тем хуже — выбирать свою сторону, ничего не понимая, ничего не зная, веря на слово, и даже не на слово, а черт знает на что... мтрелять друг в друга, грызть друг друга...

Привычные мысли в привычном русле. Тысячу раз я уже так думал. Приучены-с. Сызмальства приучены-с. Либо ура-ура, либо пошли вы все к черту, никому не верю. Думать не умеете, господин Банев, вот что. А потому упрощаете. Какое бы сложное социальное движение не встретилось вам на пути, вы прежде всего стремитесь его упростить. Либо верой, либо неверием. И если уж верите, то аж до обомления, до преданнейшего щенячьего визга. А если не верите, то со сладострастием харкаете растравленной желчью на все идеалы и на ложные, и на истинные. Перри Мэйсон говаривал: улики сами по себе не страшны, страшна неправильная интерпретация. То же с политикой, жулье интерпретирует так, как ему выгодно, а мы, простаки, подхватываем готовую интерпретацию. Потому что без нее не умеем, не можем и не хотим подумать сами. А когда простак Банев никогда в жизни ничего, кроме политического жулья, не видевший, начинает интерпретировать сам, то опять же садится в лужу, потому что неграмотен, думать по-настоящему не обучен и потому, естественно, ни в какой другой терминологии, кроме как в жульнической, разбираться не способен. Новый мир, старый мир... и сразу ассоциации: нойе орднунг, альте орднунг... Ну, ладно, но ведь простак Банев существует не первый день, кое-что понимает, кое-чему научился. Не полный же он маразматик. Есть же Диана, Зурзмансор, Голем. Почему я должен верить этому фашисту Павору, или этому сопливому деревенскому недорослю, или трезвому Квадриге? Почему обязательно кровь, гной, грязь? Почему? Мокрецы выступили против Пферда? Прекрасно! Гнать его в шею. Давно пора... И детей они не дадут в обиду, непохоже на них... и не рвут они на себе жилеток, не вызывают к национальному самосознанию, не развязывают дремучих инстинктов... То что наиболее естественно, то наименее приличествует человеку — правильно, Бол-Кунац, молодец... и вполне может быть, что это новый мир без нового порядка. Страшно? Неуютно? Но так и должно быть. Будущее создается тобою но не для тебя. Ишь, как я взвился, когда меня покрыло пятнами будущего! Как запросился

назад, к миногам, к водке... Вспоминать противно, а ведь так и должно было быть... Да, ненавижу старый мир. Глупость его ненавижу, равнодушие, коварство, фашизм... А что я без всего этого? Это хлеб мой и вода моя. Очистите вокруг меня мир, сделайте его таким, каким я хочу его видеть, и мне конец. Восхвалять я не умею, ненавижу восхваление, а ругать будет нечего, ненавидеть будет нечего — тоска, смерть. Новый мир — строгий справедливый, умный, стерильно чистый — я ему не нужен, я в нем нуль. Я был ему нужен, когда боролся за него... А раз я ему не нужен, то и он мне не нужен, но если он мне не нужен, то зачем я за него дерусь? Эх, старые добрые времена, когда можно было отдать свою жизнь за построение нового мира, а умереть в старом. Акселерация, везде акселерация... Но нельзя не бороться против, не борясь за! Ну что же, значит, когда ты рубишь лес, больше всего достанется тому самому суку, на котором ты сидишь.

...Где-то в огромном пустом мире плакала девочка, жалобно повторяя: Не хочу, не хочу, несправедливо, жестоко, мало ли что будет лучше, тогда пускай не будет лучше, пускай они останутся, пускай они будут, неужели нельзя сделать так, чтобы они остались с нами, как глупо, как бессмысленно... Это же Ирма, подумал Виктор. «Ирма!» — крикнул он и проснулся.

Храпел Квадрига. Дождь за окном прекратился, и стало как-будто светлее. Виктор поднес к глазам часы. Светящиеся стрелки показывали без четверти пять. Тянуло промозглым холодом, надо было встать и закрыть окно, но он угрелся, шевелиться не хотелось, и веки сами собой напоззли на глаза. Не то во сне, не то наяву, где-то рядом проходили машины, тащились по грязной дороге машины, через бесконечное грязное поле, под серым грязным небом, мимо раздавленной пушки с задраным стволом, мимо обгорелой печной трубы, на которой сидели сытые вороны, и промозглая сырость проникла под брезент, под шинель, и страшно хотелось спать, но спать было нельзя, потому что должна была проехать Диана, а калитка

заперта, в окнах темно, она подумала, что меня здесь нет, и поехала дальше, а он выскочил из окна и изо всех сил погнался за машиной и кричал так, что лопались жилы, но тут как раз шли танки, грохотали и гремели, он не слышал самого себя, и Диана укатила туда, к переправе, где все горело, где ее убьют, и он останется один, и тут возник свирепый пронзительный визг бомбы прямо в темя, прямо в мозг... Виктор бросился в кювет и вывалился из кресла.

Визжал Р. Квадрига. Он раскорячился перед открытым окном, глядел в небо и визжал, как бомба. Было светло, но это не был дневной свет. На захламленном полу лежали разные ясные прямоугольники. Виктор подбежал к окну и выглянул. Это была луна — ледяная, маленькая, ослепительно яркая. В ней было что-то невыносимо страшное. Виктор не сразу понял — что. Небо было по-прежнему затянуто тучами, но в этих тучах кто-то вырезал ровный аккуратный квадратик и в центре квадрата была луна.

Квадрига уже не визжал. Он зашелся от визга и издавал только слабые скрипучие звуки. Виктор с трудом перевел дыхание и вдруг почувствовал злость. Да что им здесь — цирк, что ли? За кого они меня принимают?... Квадрига все скрипел.

— Перестань! — рявкнул Виктор с ненавистью. — Квадратов не видел? Живописец дерьмовый! Холуй!

Он схватил Квадригу за махровое одеяло и потрянул изо всех сил. Квадрига повалился на пол и замер.

— Хорошо, — сказал он вдруг неожиданно ясным и отчетливым голосом. — С меня хватит.

Он поднялся на четвереньки и прямо с четверенок, как спринтер, кинулся вон. Виктор снова посмотрел в окно. В глубине души он надеялся, что ему привиделось, но все оставалось по-прежнему, и он даже разглядел в правом нижнем углу квадрата крошечную звездочку. Прекрасно были видны мокрые кусты сирени и бездействующий фонтан с аллегорической рыбой из

мрамора, и узорные ворота, а за воротами — черная лента шоссе. Виктор сел на подоконник и, следя за тем, чтобы не дрожали пальцы, закурил. Мельком он заметил, что солдатика в холле нет — то ли удрал солдатик, то ли спрятался под диван и помер от страха. Автомат, во всяком случае, лежал на прежнем месте, и Виктор истерически хихикнул сопоставляя эту несчастную железяку с силами, которые проделали квадратный колодец в тучах. Ну и фокусники. Не-ет, если новый мир и погибнет, то старому тоже достанется на орехи... А все-таки хорошо, что под рукой автомат. Глупо, но с ним как-то спокойнее. И подумавши — не глупо вовсе. Ведь ясно же — ожидается великий драп, это же в воздухе висит, а когда идет великий драп, всегда лучше держаться в сторонке и иметь при себе оружие...

Во дворе взревел мотор, из-за угла вынесся огромный, бесконечно длинный лимузин Квадриги (личный подарок господина Президента за бескорыстную службу преданной кистью), не разбирая дороги устремился к воротам, вышиб их с треском, вылетел на шоссе, повернулся и скрылся из виду.

— Удрал-таки, скотина, — пробормотал Виктор, не без зависти. Он слез с подоконника, повесил на плечо автомат, сверху накинул плащ и окликнул солдатика. Солдатик не откликнулся. Виктор заглянул под диван, но там был только серый узел с обмундированием. Виктор закурил еще одну сигарету и вышел во двор. В кустах сирени рядом с выбитыми воротами он нашел скамейку странной формы, но очень удобную, а главное — с хорошим видом на шоссе, уселся, положив ногу на ногу, и поплотнее закутался в плащ. Сначала на шоссе было пусто, но потом прошла машина, другая, третья — и он понял, что драп начался.

Город прорвало, как нарыв. Впереди драпали избранные, драпали магистратура и полиция, драпали промышленность и торговля, драпали суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф, драпали золотые рубашки — все, все в облаках бензиновой вонь, в трескотне выхлопов,



встрепанные, агрессивные, злобные, тупые, лихоимцы, стяжатели, слуги народа, в вое автомобильных сирен, в истерическом стоне сигналов — рев стоял на шоссе, а гигантский фурункул все выдавливался и выдавливался, и когда схлынул гной, потекла кровь: собственно народ — на битком набитых грузовиках, в перекошенных автобусах, в навьюченных малолитражках, на мотоциклах, на велосипедах, на повозках, пешком, толкая ручные тележки, пешком, сгибаясь под тяжестью узлов, пешком с пустыми руками, угрюмые, молчаливые, потерявшиеся, оставляя позади себя дома, своих клопов, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее. За народом отступала армия. Медленно прополз вездеход с офицерами, бронетранспортер, проехали два грузовика с солдатами и наши лучшие в мире походные кухни, а последним двигался полугусеничный броневик с пулеметами, развернутыми назад.

Светало, побледнела луна, страшный квадрат расплылся, тучи таяли: наступало утро. Виктор подождал минут пятнадцать, никого больше не дождался и вышел за ворота. На асфальте валялись грязные тряпки, чей-то раздавленный чемодан — хороший чемодан, по всему видно — начальство обронило, колесо от телеги, на обочине, немного поодаль, и сама телега, со старым продраным диваном и фикусом. На середине шоссе прямо напротив ворот — одинокая голова. Вокруг было пусто. Виктор посмотрел в сторону автостанции. Там тоже больше не было ни одной машины, ни одного человека. В садах засвистели птицы, поднималось солнце, которого Виктор не видел уже полмесяца, а город — несколько лет. Но теперь на него здесь некому было смотреть. Снова раздалось жужжание мотора и из-за поворота вынырнул автобус. Виктор сошел на обочину. Это были «Братья по разуму» — они проплыли мимо, одинаково повернув к нему равнодушные бессмысленные лица. Вот и все, подумал Виктор. Выпить бы. Где же Диана?

Он медленно пошел обратно в город.

Солнце было справа, оно то пряталось за крышами особняков, то

выглядывало в промежутках, то брызгало теплым светом сквозь ветви полусгнивших деревьев. Тучи исчезли, и небо было удивительно чистое. От земли поднимался легкий туман. Было совершенно тихо, и Виктор обратил внимание на странные, едва слышные звуки, доносившиеся словно бы из-под земли. Но потом он привык и забыл о них. Удивительное чувство покоя и безопасности охватило его. Он шел, как пьяный, и почти все время смотрел на небо. На проспекте Президента возле него остановился джип.

— Садись, — сказал Голем.

Голем был серый от усталости и какой-то придавленный, а рядом с ним сидела Диана, тоже усталая, но все равно красивая, самая красивая из всех уставших женщин.

— Солнце, — сказал Виктор, улыбаясь ей. — Поглядите, какое солнце!

— Он не поедет, — сказала Диана. — Я вас предупреждала, Голем.

— Почему не поеду? — удивился Виктор. — Поеду. Только зачем торопиться?

Он не удержался и снова посмотрел на небо. Потом посмотрел назад, на пустую улицу. Все было залито солнцем. Где-то в поле тащились беженцы, отступающая армия, драпало начальство, там были пробки, там висела ругань, орали бессмысленные команды и угрозы, а с севера на город надвигались победители, и здесь была пустая полоса покоя и безопасности, несколько километров пустоты, и в пустоте машина и три человека.

— Голем, это идет новый мир?

— Да, — сказал Голем. Он вглядывался в Виктора из-под опухших век.

— А где ваши мокрецы? Идут пешком?

— Мокрецов нет, — сказал Голем.

— Как так нет? — Спросил Виктор. Он поглядел на Диану. Диана молча отвернулась.

— Мокрецов нет, — повторил Голем. Голос у него был сдавленный, и Виктору показалось, что он вот-вот заплачет. — Можете считать, что их и не

было. И не будет.

— Прекрасно, — сказал Виктор. — Пойдемте прогуляемся.

— Вы поедете или нет? — вяло спросил Голем.

— Я бы поехал, — сказал Виктор, улыбаясь, — но мне надо зайти в гостиницу, забрать рукопись... и вообще посмотреть. Вы знаете, Голем, мне здесь нравится.

— Я тоже остаюсь, — сказала вдруг Диана и вылезла из машины. — Что мне там делать?

— А что вам здесь делать? — спросил Голем.

— Не знаю, — сказала Диана. — У меня же нет никого больше, кроме этого человека.

— Ну хорошо, — сказал Голем. — Он не понимает. Но вы же понимаете.

— Но он должен посмотреть, — возразила Диана. — Не может же он уехать, не посмотрев...

— Вот именно, — подхватил Виктор. — На кой черт я нужен, если я не посмотрю? Это же моя обязанность — смотреть.

— Слушайте, дети, — сказал Голем. — Вы соображаете, на что вы идете? Виктор, вам же говорили: оставайтесь на своей стороне, если хотите, чтобы от вас была польза. На своей!

— Я всю жизнь на своей стороне, — сказал Виктор.

— Здесь это будет невозможно.

— Посмотрим, — сказал Виктор.

— Господи, — сказал Голем. — Как-будто мне не хочется остаться! Но нужно же немножко думать головой! Нужно же разбираться, черт побери, что хочется и что должно... — Он словно убеждал самого себя. — Эх вы... Ну и оставайтесь. Желаю вам приятно провести время. — Он включил скорость. — Где тетрадь, Диана? А, вот она. Так я беру ее себе. Вам она не понадобится.

— Да, — сказала Диана. — Он так и хотел.

— Голем, — сказал Виктор. — А вы почему бежите? Вы же хотели этот мир.

— Я не бегу, — строго сказал Голем. — Я еду. Оттуда, где я больше не нужен, туда, где я еще нужен. Не в пример вам. Прощайте.

И он уехал. Диана и Виктор взялись за руки и пошли вверх по проспекту господина Президента в пустой город, навстречу наступающему победителю. Они не разговаривали, они полной грудью вдыхали непривычно чистый свежий воздух, жмурились на солнце, улыбались друг другу и ничего не боялись. Город смотрел на них пустыми окнами, он был удивителен, этот город — покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, весь в каких-то злокачественных пятнах, словно изъеденный экземой, словно он пробыл много лет на дне моря, и вот, наконец, его вытащили на поверхность на посмешище солнцу, и солнце, насмеявшись вдоволь, принялось его разрушать.

Таяли и испарялись крыши, жель и черепица дымились рыхлым паром и исчезали на глазах. В стенах росли проталины, расползались, открывая обшарпанные обои, облупленные кровати, колченогую мебель и выцветшие фотографии. Мягко подламывались уличные фонари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы — все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым, прозрачным, превращалось в сугробы грязи и пропадало. Вдали башня ратуши изменила очертания, сделалась зыбкой и слилась с синевой неба. Некоторое время в небе, отдельно от всего, висели старинные башенные часы, потом исчезли и они...

Пропали мои рукописи, весело подумал Виктор. Вокруг уже не было города — торчал кое-где чахлый кустарник, и остались больные деревья, и пятна зеленой травы, только вдалеке за туманом еще угадывались какие-то здания, остатки зданий, а недалеко от бывшей мостовой, на каменном крылечке, которое никуда не вело, сидел Тэдди, вытянув раненую ногу и положив рядом с собой костыли.

— Привет, Тэдди! — сказал Виктор. — Остался?

— Ага... — сказал Тэдди.

— Что так?

— Да ну их, — сказал Тэдди. — Набились, как сельди в бочку, ногу некуда вытянуть, я говорю снохе, ну зачем тебе, дура, сервант? А она меня кроет... Плюнул я на них и остался.

— Пойдешь с нами?

— Да нет, идите, — сказал Тэдди. — Я уж посижу. Ходок я теперь никудышный, а мое меня не минует...

Они пошли дальше. Становилось жарко, и Виктор сбросил на землю плащ, стряхнул с себя ржавые остатки автомата и засмеялся от облегчения. Диана поцеловала его и сказала: «Хорошо!» Он не возражал. Они шли и шли под синим небом, под горячими лучами солнца, по земле, которая уже зазеленела молодой травой, и пришли к тому месту, где была гостиница. Гостиница не исчезла вовсе — она стала огромным серым кубом из грубого шершавого бетона

— пограничный знак между старым и новым миром. И едва он это подумал, как из-за глыбы бетона беззвучно выскользнул реактивный истребитель со щитом Легиона на фюзеляже, беззвучно промелькнул над головой, все еще беззвучно вошел в разворот где-то возле солнца и исчез, и только тогда налетел адский, свистящий рев, ударил в уши, в лицо, в душу, но навстречу уже шел Бол-Кунац, повзрослевший, с выгоревшими усиками на загорелом лице, а поодаль шла Ирма, тоже почти взрослая, босая, в простом легком платье, с прутиком в руке. Она посмотрела вслед истребителю, подняла прутик, словно прицеливаясь и сказала: «Кх-х!»

Диана рассмеялась. Виктор посмотрел на нее и увидел, что это еще одна Диана, совсем новая, какой она никогда прежде не была, он и не предполагал даже, что такая Диана возможна — Диана Счастливая. И тогда он погрозил себе пальцем и подумал: все это прекрасно, но вот что, не забыть бы мне

вернуться.